



**stella.ru**  
Германия

Л19

© Мария Лакман: Дом, в котором — я и ты..  
Выпущено при содействии Международной гильдии  
писателей — Internationale Schriftstellergilde  
<http://schriftstellergilde.org>  
Германия: stella.ru 2011

© Все права защищены  
Верстка: Л. Баумгартен  
Иллюстрации Юлии Зисман — выпускницы московской  
Академии изобразительных искусств (отделение станковой жи-  
вописи и графики), члена Союза художников Израиля с 1991 го-  
да, участницы многих персональных и групповых выставок.  
Интернет-сайт художницы: [www.juliazisman.com](http://www.juliazisman.com)

Книга выходит в авторской редакции  
Электронный адрес автора: [masha.book@gmail.com](mailto:masha.book@gmail.com)

ISBN 978-3-941953-47-5

Verlag „stella.ru“  
Deutschland  
ISBN-Verlagsnummer 978-3-941953

МАРИЯ ЛАКМАН

ДОМ,  
В КОТОРОМ — Я И ТЫ...



*Моему любимому, самому теплomu на свете человеку  
и всем нам, слегка пятидесятилетним...*

Иногда, когда я перед сном стою у зеркала, Сережка подходит сзади, поднимает мои волосы вверх и делает из них два озорных хвостика: «Вот так тебе идет больше всего...». При тусклом свете не видно сеточек под глазами, второй подбородок еще не вырос, талия присутствует на положенном месте, — и минутку можно побыть девчонкой совершенно неопределенного возраста.

— А может, ты с такой прической хоть дома походишь?

— Серег, ты забыл сколько мне лет?!

Который раз я вспоминаю о возрасте — плохой знак. Заволновалась? Да нет... Начала ощущать его? Тоже, пожалуй, нет. Ну, просто не ожидала такого быстрого поворота событий — как, уже?! Нам уже стукнуло по полтиннику, а мы как-то еще, вроде, и не повзрослели... Мы никогда не будем ходить в шляпах и никогда не сможем, уложив животы на колени, немного надменно и чуточку томно произнести: «Ах, деточка, в ваши-то годы...»

— Ты расстраиваешься из-за этого?

— Ну, что ты, нисколько...

Я не повзрослела, но, кажется, наконец, выросла. Я не знаю точно, как надо поступать во многих ситуациях, но я уже знаю, как не надо. Иногда мне кажется, что я что-то поняла про Жизнь, и я пытаюсь рассказать об этом своим детям, но сама себя останавливаю: «Не зуди». Господи, неужели так подшаркивает Старость?

— Нет, это мудрость и опыт.

А еще... А еще я ощущаю некую перенасыщенность Увиденным и Услышанным, мельканием разных времен, городов и стран, разных языков людей...

— А ты пиши, пиши...

Вот я и написала.

## ***О ЛЮБВИ И ШЛЯПАХ***

Мне ужасно повезло: я родилась в семье, где все друг друга любили. Я знаю точно, что детское счастье складывается не из количества игрушек и одежды, не из наличия отдельной комнаты и собственного компьютера — ну, это я с поправкой на время говорю, — а из незримых ниточек любви, пронизывающих дом. Я родилась — и меня взяли в этот свой теплый круг, под оранжевый абажур над круглым столом, покрытым тяжелой скатертью с кисточками. Нас было шестеро: бабушка с дедушкой, папа с мамой и я со старшим братом. Вы хотите узнать, как мы размещались в малюсенькой квартирке? Я расскажу.

Россия. Конец пятидесятых. Салон принято называть «Большой комнатой», причем у многих она была совсем маленькой, но называли ее все равно Большой — может, просто для мечты. Обычно в ней стоял толстоногий стол со стульями, пузатый буфет и раздвижной диван, на котором кто-то обязательно по ночам спал. Наша — многолетне служила спальней

для родителей, поскольку во второй — и последней — комнате спали бабушка с дедушкой, я, брат и кошка, на которую я однажды неуклюже свалилась ночью, получив от нее по заслугам острые коготки в живот. Каждый протискивался на свое место с трудом, но я помню, как нравилась всем эта обстановка, как любовно бабушка заправляла кровати — вначале верблюжьими колючими одеялами, потом розовыми с белыми цветами покрывалами, потом взбивала по две огромные квадратные подушки и водружала на них — помните такое слово? — накладки. Подушка под оборочками мгновенно преображалась и начинала походить на пухлую невесту в нарядной хрустящей фате. Еще бы им не радоваться этому неземному счастью отдельной квартиры, которое сваливалось тогда далеко не на всех. До этого они снимали комнаты в частном доме у крикливой хозяйки и ее семьи в течение... Тридцати лет. Все эти долгие годы она кричала на идиш: «Рахиль, забери своих детей».

Бабушка с дедушкой родились в Литве, потом, вероятно, их семьи перебрались в Латвию,

откуда они, поженившись, приехали в 1916 году в Екатеринбург. По путаным семейным преданиям, дед был заражен большевистскими идеями, даже раскидывал какие-то листовки и, поменяв фамилию со Столцер на Ициксон, якобы бежал от службы в Царской армии на Урал. А два его брата (иногда моя мама говорит — «а может, сестры»), у которых, видимо, не было революционных мыслей, уехали в Америку. От них пришло в 20-е годы одно письмо. Его читали с большим волнением и при закрытых наглухо дверях — «сплошные нервы»: по тем временам просто нельзя было «иметь родственников за границей». На письмо не ответили, и больше этого кошмара не повторялось. Так они и сидели — а куда деться? — в этом многолюдном, многодетном, похожем по укладу на коммуналку, покосившемся доме из темно-коричневых бревен, пережив приходы белых и красных, две большие войны и культ Сталина. Здесь выросло пятеро их детей. В нем же почти случайно родилась я. В том смысле — случайно, что меня вполне могло не быть. После моего старшего брата

Илюши у родителей появился мальчик. Он заболел воспалением легких и умер в месячном возрасте. Все долго и по-разному горевали: папа ни за что больше не хотел иметь детей, мама мечтала о втором... Я — женская тайна, святая ложь, которую папа так никогда и не узнал. Я прорвалась из дырки, которую мама проделала в презервативе...

Семья моего папы бежала из Белоруссии, когда началась Великая Отечественная война. Они жили в Полоцке, и, когда у папы был выпускной вечер, бомбы ночью посыпались прямо в реку, где они катались с ребятами на лодках... Папина мама, бабушка Соня, ни за что не хотела уезжать из Полоцка. Она никак не могла испугаться. Она помнила немцев с Первой мировой. Женская память цепко держала образ симпатичного галантного офицера, который красиво ухаживал за ней, «абсолютно не был антисемитом» и даже предлагал руку и сердце. Это было надежным залогом того, что немецкая армия состоит из хороших культурных людей, которых просто снова отправили воевать. Решительный и умный дед Соломон



погрузил на телегу пожитки, жену, двоих детей, и они отправились в опасный путь, но путь к жизни, приведший их на Урал, в тот же Екатеринбург, который тогда назывался уже Свердловском. Вся большая родня, не захотевшая оставлять дома, была уничтожена в Полоцке в самом начале войны. Не осталось никого, кто бы мог рассказать, как они погибли. Я думаю, что передвижение нашей семьи началось тогда, еще в шестнадцатом (а может, и раньше — кого спросишь?), а потом продолжилось в сорок первом, а потом в девяносто втором, в 2004-м... Отчего мы бегаем по свету? Бежим от войны? От плохой жизни? От политических режимов? От климата? От себя? Я часто думаю об этом — и не нахожу настоящего ответа. Это какая-то смесь обстоятельств, испуга, романтики, непоседливость и жуткое любопытство — а там что, вот там, за углом? А если перелететь через океан? Интересно, что было бы, если бы дед в начале прошлого века уехал не на Урал, а в Америку со своими братьями?.. Ну, хорошо, а если бы другой остался по просьбе бабушки в Полоцке? —

нас просто бы не было на свете... Так я о любви.

Дед Борис, по паспорту Берка Шаев, очень любил людей, и они отвечали ему взаимностью. Он был классным переплетчиком, по-настоящему одаренным человеком, при этом образование его сводилось к четырем классам хедера. Он в совершенстве знал идиш и любил читать на нем художественную литературу, был кристально грамотным и стилистически правильным, когда писал по-русски, который изучил когда-то сам. Папа, работавший с ним вместе в проектном институте рассказывал, что многие инженеры носили ему тексты на проверку, как к корректору... Кроме того, он имел абсолютный слух и записывал любую мелодию со скоростью стенографистки. Не имея музыкального образования, в молодости дед был кантором в синагоге. Дома он час-тенько садился за пианино — я любила устроиться рядышком — и коротенькими негибкими пальчиками играл какие-то хитрые полифонии, а иногда просто аккорды: гармонии плавно перетекали одна в другую, в нечто по-

трясающе красивое по звучанию — наверно, он сочинял музыку. Любил ли он бабушку, я не знаю. Иногда он позволял себе довольно громкие домостроевские нотки: «Почему ты наливаешь мне так много супа?! Ты ведь знаешь, что я могу съесть две таких тарелки...». Но я застала их в старости, а потому могу только представлять, что когда-то, в начале 19 века, он увидел Рахиль и погиб — она была настоящей красавицей. Одна родственница рассказывала маме, что, когда моя бабуля во девичьем возрасте шла по улице, многие оглядывались ей вслед... У нее была тонкая аристократическая красота и осанка леди, не понятно, откуда взявшиеся в бедной еврейской семье. Мне кажется, они подходили друг другу. Бабуля родила двух мальчиков и трех девочек. Научившись читать уже в приличном возрасте, она была твердо, непоколебимо и мудро уверена, что все ее дети должны получить высшее образование, несмотря на бедность, вечное бесквартирье, войну и периодический голод. И она добилась своего! Мама была младшей и любимой дочкой. С ней ро-

дители и прожили всю жизнь. Оба они любили моего папу и всегда добавляли — «как сына». Дед в обыкновенно трудные времена взял на себя роль добытчика в семье. Рано утром он выходил на охоту за продуктами и часто брал меня с собой — он был на пенсии, а я еще не училась в школе и считалась по диагнозу семьи «несадиковым ребенком». Мы вместе стояли в очереди за продуктами, и тогда нам «отпускали», скажем, не один килограмм чего-то, а два... Иногда перед походом дед звонил в магазины и с идишской интонационной заковыкой в конце фразы, спрашивал: «Я очень интересуюсь, не скажете ли, а яиц сегодня не предвидится?».

Очень часто в этих очередях мы встречали совершенно удивительного старика Гурфинкиля, родом, кажется, из Польши. У него был сильный акцент, кроме того, он вставлял много слов и шуточек на идиш, отчего его русский искрился необыкновенно окрашенным юмором. Он быстро жестикулировал, а поскольку в одной руке была зажата тросточка, во время беседы она смешно прыгала над головами. Он

казался мне сказочным героем — огромный крючковатый нос в зарослях черных кудряшек, на котором как будто застряли круглые очки, такие же, в зарослях, уши, тонкие губы — маленький, кругленький, в неизменной, просто вечной кепочке, хотя именно с шапками у Гурфинкеля было все в порядке. Дело в том, что он работал шапочником в Театре музыкальной комедии и очень творчески подходил к каждому спектаклю, вряд ли его кто-то просил об этом — ему было интересно самому. Он изучал историю народа, о котором шла речь в либретто, просиживал часами в библиотеке за книжками и мастерил для актеров головные уборы, которые точно соответствовали характеру героя и эпохе, в которой происходило действие. Но это не самое интересное.

У Гурфинкеля было хобби. Он изготавливал, опять же изучая вопрос до тонкостей, головные уборы крупных исторических деятелей, королей и героев компартий, умерших и здравствующих. Последним он отправлял «шляпы» в качестве подарков заказными бандеролями. Честно говоря, я плохо представляю себе, как

эти дары в те времена доходили до адресатов и как ему не пришили какое-нибудь «шапочное дело». Но благодарственные письма вождей Гурфинкель разворачивал прямо на улице перед дедушкой, зачитывал ему отрывки, водя по ним своим шикарным носом и вспоминая, как он искал реальную пуговку того времени и как ему все же удалось ее найти: «Таки я нашел!». Мы приходили домой с добычей, в хорошем настроении после разговора со сказочным Гурфинкелем, бабушка нас хвалила и усаживала за стол. Ее увлечением была кухня. Здесь она царствовала, не подпуская маму. Это была смесь русских, ашкеназийских и прибалтийских рецептов, помноженных на бабушкин кухонный — яркий, щедрый, обильный — талант. На бабулины изощерения к нам на праздники любили приходить родственники и друзья: «Ах, никто так не готовит, как Рахиль Исааковна». Больше всего бабушке нравилось кормить моего брата Илюшу. Она садилась напротив и молча наблюдала, с должным ли чувством он поедает ее стряпню. Потом спрашивала: «Ну, когда ты сбреешь эти усы?»

— Ну, бабушка!..

— Даю 30 копеек.

— Баб...

— Хорошо, пятьдесят.

Мой папа обожал маму, а она его. Они называли друг друга уменьшительными словами, и это был тот случай, когда в этом не чувствовалось никакой слащавости и наигранности.

— Котенька, — говорил папа, ну почему ты не купила два таких платья?

— Гришенька, а зачем мне два одинаковых?

— Но оно же так тебе идет!

Из московских командировок папа каждый раз привозил маме новую шляпку. Я помню две из них. Одна из мягкого вишневого бархата, причудливо изогнутого на макушке, с белым пером, другая — из желтой соломки с букетиком из голубых незабудок — приметыф наладившейся жизни. Семья, утопающая в любви, — счастье, мечта, в ней уютно в детстве и надежно в отрочестве, в нее замечательно возвращаться и окунаться, как в теплое море.

Я тогда не понимала — это был остров, оазис, случай, просто везение...

## **НЕОПАСНЫЕ ИГРЫ**

Мы бегали по огромному двору, утопающему в сирени и яблонях, без взрослых часами — вот было раздолье! — никто не боялся отпустить нас дотемна, никто не разыскивал, только глубоким вечером в форточках пятиэтажных домов появлялись лица спохватившихся родителей: «Нина, домой!», «Ира, что я тебе сказала, домой!», «Машенька, мы тебя ждем!» — это меня, сейчас иду. Мы гоняли на велосипедах, ужасно любили бродить между гаражами, залезать на территорию детского сада через дырку в заборе, когда оттуда уводили детей на сонный час или уже по домам. Можно было зайти в ателье «Рассвет», расположенное в доме, — иногда оттуда не выгоняли и даже дарили кусочки тканей, из которых мы потом шили платья куклам, а можно было добежать за две минуты до знаменитой помпезной бани с солидными, почти греческими колоннами и выпить газировки из автомата. Иногда мы удирали на старое Михайловское кладбище, которое располагалось недалеко от дома, просто

так, пощекотать нервы, а если пройти еще немножко, — до вышки — там можно было найти обрезки кабеля с разноцветной проволокой и наплести из нее кучу всяких браслетиков... А еще мы играли в огромное количество игр — почти утерянный, выдавленный компьютерами культурный пласт человечества.

Не знаю, как у вас, у нас во дворе эта игра называлась «в домик», что-то наподобие построения модели семьи, где действовали мама, папа, дети... — «После работы купи хлеба и молока да смотри, не забудь». Роли распределялись по справедливости. Я, чаще всего, оказывалась «ребенком», потому что ростом была меньше всех и на мать не тянула.

Мы взялись за руки — «Ну, пойдём, детка, погуляем, — я посерединке, «папа и мама» по бокам, — веди себя хорошо, слушайся, вот умница...». Все шло замечательно, гуляние было чудесным — мы прошли мимо горки, свернули к песочнице, посидели на скамеечке, «мама» заботливо поправила мне развязавшийся шнурок, мы снова взялись за руки и

пошли в другую сторону — небольшой площадки, усыпанной люками, как раз под нашим балконом...

Около подъезда стояла огромная, уходящая в небо толстенная, цвета ржавчины, прокопченная труба. Лестница рядом вела — все дети знали — в котельную, но никогда не спускались туда, наверно, это было запрещено. Ну вот, мы продолжали прогулку, семейно беседуя. И вдруг... меня не стало. Девчонки — «мама с папой» — взвизгнули от неожиданности, испугавшись не на шутку. Они продолжали верещать, а я тем временем летела вниз, под землю, не успев понять, что именно со мной произошло. Пролетев несколько метров за какие-то секунды, я удачно и беспарашютно приземлилась на мягкую попу, прямо в кучу с углем и, увидев кочегара с лопатой, сказала: «Здрасьте!» — воспитанный ребенок. Кочегара чуть кондрат не хватил. Ну, во-первых, он не ожидал прилета пятилетней девочки (правда, и шестилетней тоже), во-вторых, он испугался за меня — не дай Б-г, что-то сломала — и за себя тоже: начнут искать, кто плохо люк закрыл...

Он снял меня с кучи угля, убедился, что у меня все двигается правильно — «Ну-ка пошевели ногами», и повел к выходу. Я глазела по сторонам — там, под землей, была другая жизнь: в полумраке сверкали яркие огненные вспышки, стояли какие-то столы, утварь, давил тяжелый неживой воздух, запах был необычный — скорее к выходу, к свету! Рванула бегом на свой пятый этаж, ошалело позвонила в дверь.

— О, господи, — сказала ничего не подозревающая мама, — где ты так вымазалась?

Я молчала, как партизан. Ни за что не скажу.

— Во дворе гуляла, — отвечаю я.

— Посмотри на себя в зеркало.

Смотрю. Мамочки! Лицо, одежда, руки, ноги, до кончиков пальцев абсолютно черного цвета. Блестят только глаза и зубы.

— Машенька, я тебя прошу, скажи, где ты была? — прыгала вокруг меня мама. — Котенька, как ты думаешь, где она могла быть? Папа не знал ответа.

Но я была уверена — сознаваться нельзя, а то гулять завтра не выпустят, это точно. Мама взя-

ла самую жесткую мочалку, поставила меня под горячий душ и начала оттирать. В дверь позвонили. Стоя в противно-черномазой с мыльными разводами, наверно, уже третьей воде, я слышала, как запыхавшиеся девчонки, перебивая друг друга, выкладывали папе: «Мы играли в домик и держали ее за ручки, а она вдруг взяла и провалилась. Мы ее искали, искали...». Вот глупые — «мама с папой» называются, взяли и рассказали все, кто их просил...

## ***ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ***

Моя учительница Анна Ивановна прижала меня к себе и сказала: «Какая же ты маленькая, крошечка совсем, и портфель по земле...» Этого было достаточно, чтобы полюбить ее с первого школьного дня навеки, несмотря на то, что была она строгого нрава и большой любительницей дисциплины: «Встаньте-сядьте, поднимите руки-опустите руки». На вид — худая, сухая, угловатая... Ее воспитали в суро-



вости детского дома, но, вероятно, поэтому она кожей чувствовала ребячьи комплексы и как-то не в лоб, а тихонечко, незаметно пыталась помочь с ними справиться. «Я вижу, ты боишься? — будто говорила она мне. — Не бойся: я — твоя защита. У тебя плохо идет физкультура? Не можешь быстро бегать? Ничего страшного. Зато как ты здорово играешь на пианино — послушайте, дети, как Машенька играет!». Она была первой, кто послал меня брать интервью. Я была тогда, кажется, в чет-

вертом классе, но все еще оставалась тихой малявкой с двумя косичками и тоненьким, едва слышным голосом. Как она догадалась, что я смогу это сделать, совершенно не понимаю... Она доверила!

Это конец 60-х. Где-то бродят все понимающие и осуждающие действительность диссиденты. А я иду беседовать с Парамоновым — это нужно для школьного музея — человеком, который, можно ли в это поверить, видел Ленина! Блокнот, новая ручка, наглаженный пионерский галстук, Парамонов, Ленин, я... — просто дух захватывает. Ни интервью с послом, ни беседа с капитаном ледокола, с профессором-офтальмологом, с известной певицей, да мало ли, с кем еще, за длинную газетную жизнь, не вызывали такого букета переживаний — пузатой гордости и сжимающего горло волнения.

Парамонов — большой крепкий старик с длинной белой бородой почти до пояса... Боже, как же мне страшно!.. Он глянул на меня, усмехнулся в белоснежные усы, мгновенно

превратившись в доброго Хоттабыча, неожиданно подхватил меня вверх и, усадив на колени, сказал тоном сказочника: «А сейчас я тебе расскажу, как я видел Ленина». Никто меня больше так не усаживал во время интервью.

### ***НЕСУТОЧНОЕ ДЕЛО***

Новое зимнее пальтишко мне купили совсем недавно. Симпатичное, светленькое... Вот черт, клей попал на рукава, на подол и Б-г знает куда — темно, ничего толком не видно. Ну, а что я могла сделать? — нужно было спрятать банку с клеем и листовки за пазухой, а потом каждый раз доставать, озираясь вокруг, наверно, тогда с кисточки и накапало... Листовки мы изготовили вчера — распотрошили тетрадки в клеточку, на каждом листочке написали от руки своим детским корявым почерком: «Дорогие свердловчане! Поздравляем вас с 50-й годовщиной Октябрьской революции!». Подпись — Сводный Отряд имени Гайдара(СОИГ). Ниже — две пе-

рекращенные стрелы и печать, изготовленная из стирательной резинки и проступившая на листке в виде красного галстука.

Мы обклеили весь довольно большой микрорайон и были страшно довольны — никто нас не заметил, мы выбрали правильное время: не слишком позднее, чтобы нас не отпустили родители, и уже достаточно не привлекательное для многолюдных прогулок.

Утром встретились рано — хотели посмотреть на реакцию счастливых жителей «обклеенного участка». Увиденное превзошло все ожидания — народ кучковался около листовок, недоумевал: а кто это такие? Хм, кто такие... — понимающе перемигивались мы — мы соинговцы, тайный отряд, секретная организация. Думаю, мы испытывали одинаковые чувства с теми, кто разбрасывал листовки полвека назад, до этой самой Октябрьской революции, и со всеми другими мальчишками и девчонками разных времен и народов, которых волновала больше романтическая сторона дела, нежели политическая подоплека... Наверно, мы задали

задачку «органам» — что с нами делать?! Обклеивать город листовками было, мягко говоря, не принято, а если листовка «хорошая и правильная, политически выдержанная и вполне соответствует линии партии», то как ее осудишь и каким образом категорически запретишь? Но с другой стороны, ты только покажи путь, укажи дорогу, как это делается, и тебе обклеят весь город, и еще неизвестно чем... Да, дела... В общем, нас пожурили за то, что мы испортили здания, потому что клей был совершенно не смываемым — мама варила ... Да я знаю, пальтишко так и не очистилось.

Отряд возник, именно возник — никто из взрослых его не организовывал, к концу 60-х, а стало быть, к концу оттепели, о которой мы, дети, не имели ни малейшего представления... Вероятно, в это время какие-то позитивные процессы в жизни уже шли к завершению, но мы были в полном расцвете, я бы даже сказала, на пике романтических мечтаний — душа просила насыщенной, «некондовой», настоящей ребячьей жизни! Скучные пионерские сборы в

школе и мероприятия для галочки не удовлетворяли этой жажды. Мы перечитывали, передавая друг другу, книжку известного уральского писателя Олега Корякова «Тропой смелых», написанную в пятидесятых, но нам казалось, это про нас(!), подмешивали туда же собрание сочинений Гайдара — и хотелось немедленно таких же приключений, тайн, походов, сборов, штабов... Наверно, нужно было, чтобы наша энергия попала в «добрые руки» хорошего равнодушного пионервожатого, педагога, руководителя кружка... Но как-то не случилось... Зато самоорганизовался другой толчок.

Лене Бажутиной, боевой девчонке из нашего класса, выпало несбыточное счастье — побывать в международном пионерском лагере «Артек». Бажутя вернулась переполненная альтернативными идеями, она захлебывалась от рассказов о тимуровском, вовсе не книжном, а взаправдашнем движении, еще чуть-чуть, и вот они, мы, готовенькие — салют! — «соиговцы».

«Дорогие Сарра Борисовна и Григорий Соломонович! У нас к вам большая просьба. Чле-

нам Сводного Отряда имени Гайдара негде проводить свои сборы. Мы очень просим вас отдать нам для этого ваш чулан, где мы можем разместить штаб СОИГа. Обещаем убрать там все сами, выбросить ненужное и никогда не пачкать. Пожалуйста! Тимур — Лена Бажутина...» Далее шли подписи остальных тимуровцев, включая, меня. Стрелы, печать. Получив такой серьезный документ, мои родители не смогли устоять, они посоветовались и решили обойтись в хозяйстве без каморки. А да, можно?! Ребяшня тут же понабежала — моя самая лучшая подружка Лариска, Геруля, Ремнякуля, Оля-Аксоля, один мальчик Паша и, конечно, Тимур-Бажутя, — вытащили многолетний мусор в виде ненужных вещей, которые «могли пригодиться в любой момент». На полочки вместо папиных инструментов водрузили незабвенного Гайдара и другие любимые книжки — будет своя библиотека, на стол поставили всякую канцелярию, на стенки повесили свои листочки с планами, расписанием сборов, списками членов СОИГА... Чулан чуд-

но похорошел, но, к сожалению, не увеличился в размерах.

Мы с трудом втискивались туда, едва дыша, но радость обретения собственной штаб-квартиры была сильнее неудобств. Вскоре наши головки перестали помещаться под книжные полки, приходилось сгибаться в три погибели, наверно, мы просто вымахали в одно прекрасное лето, как это обычно происходит со многими подростками. Первым делом мы нашли в соседнем доме бабушку Клаву, которая не могла свободно передвигаться, и обрушились на нее со всем своим тимуровским задором — ходили в магазин, убрали ее однокомнатную квартиру — мыли, скребли, выметали, вытрясали... практически ежедневно, без усталости выводили ее на улицу, помогая одеться, а потом раздеться. Как-то мама рассказывала мне, что во время войны они приютили у себя семью бабушкиного брата, бежавшую с Украины. Их мальчик Изя, которого я разыскала впоследствии в Израиле сионистом в возрасте под восемьдесят, состоял тогда

тимуровцем... Наша семья голодала, как большинство многодетных семей военного времени, однако Изя, находясь в угаре спасения человечества, уносил из дома, где сам бедствовал, последние крохи... Вот так и у нас — вряд ли кто-то из соигровцев так помогал своим родителям, как подшефной бабушке Клаве — что-то не припомню, чтобы я так драила полы дома...

Однажды мы поехали на Шарташ — это поселок у одноименного озера, практически в черте города Свердловска, туда ходил трамвай четверка, а может, ходит до сих пор... Готовились к этому секретному мероприятию серьезно. Фонарики, свечи, еда, вода, веревки — если бы мама знала — все уложено в рюкзачки. Почему на Шарташ? Там — немного пройти по лесу, свернуть по тропинке, снова пройти прямо... — стоял заброшенный, как мы называли, «графский дом». Деревянный, кажется, трехэтажный, старинный особняк будил воображение — мы искали тайный ход под землю, о котором что-то слышали, что-то просто себе нафантазировали, и классное приключение было готово! Еще бы, в доме никого не

было, половицы скрипели, наши шаги по лестницам эхом отзывались в глубине поместья, фонарики высвечивали замысловатые архитектурные детали — ну, просто страшилка в действии. Дом несомненно имел свою историю, но раскопать ее нам так и не удалось... Однако мы были вполне довольны. Как-то мы приготовили длиннющий концерт с танцами, песнями и сценками к очередному празднику. Показывать его самим себе было неинтересно: на репетициях насмотрелись. Как обычно, мы призвали моих родителей, которые — нет, все же святые люди! — разрешили нам вынести мебель из большой комнаты — «Мамочка, это ненадолго!» Организовали там сценическую площадку и кулисы, а благодарных зрителей — мою семью — посадили в коридор...

По мере того, как СОИГ разрастался количественно, отцы-основатели отряда набирались ума, а Тимур-Бажутя вырослел, — романтический дух слегка потускнел, кадры подвляли, да и квадратура штаба уже не вмещала полноценно даже троих членов командного состава... А это уже было делом нешуточным.

## **НАТАЛЬЯ**

Ее так все и называли между собой — Наталья. Из далекой деревни в город привела ее когда-то математическая смекалка. Наверно, она что-то умножила, что-то разделила и получила ответ, означавший, что в городе ей будет лучше. Ей и вправду было неплохо. Жизнь наладилась, часов в школе было много, да и математиком она считалась неплохим. Светлая голова. Каждый урок математики, ну, или почти каждый, заканчивался одинаково. До звонка оставалось несколько минут.

— Ну, кто пойдет к доскэ?

Класс замирал в тихом ужасе. Остренькие коричневые глазки оглядывали каждого, потом остренький носик водил по журналу. Хотя все знали — вызовут меня. Ну, скорее всего, меня.

— Х доскэ пойдет...

Напряжение возрастало. В накаленном воздухе взрыв хохота раздавался еще до того, как она произносила мою фамилию.

— Ну, что ты стоишь, как кленовый лист в безветренную погоду, — обращалась она ко

мне, форсируя «г» громким придыханием, — тебе не толкает в голову, что это нужно взять в скобки?

Я заранее знала, чем это кончится: успею сделать пару математических действий, едва сообразив в чем там дело, потом залыется долгожданный звонок, и все повскакивают со своих мест.

— Да, сядьте ж вы, паразиты-кровопивцы, мы не закончили! Сядьте, — старалась она переорать возбужденный звонком класс, — Охламоны! Ух, Бултыков, голодранец этот...

Иногда она снимала с ноги туфлю, устрашающе ударяла каблуком по столу и ждала должного эффекта.

— Ну, шас я...Ну, шас они меня доведут до греха... Ну, крокодилы ж эти...

Через какое-то время я обнаруживала в журнале тройка, потом получала пятерку за контрольную и, чередуя в колонках свидетельства этих Натальиных необъяснимых капризов, имела в конце года прочную четверку по математике, что меня вполне устраивало. До оп-

ределенного момента мы друг на друга не сердились.

— Наталья Петровна, а чего вы сегодня такая красивая? — спрашивал Белобородов, чтобы хоть как-то оттянуть проверку домашнего задания

— А чтоб вы знали, что и учитель иногда может быть человеком тоже. Она кокетливо поправляла свои мелкие химические кудряшки: «Просто день у меня вчера был свободный».

Иногда номер не проходил.

— Наталья Петровна, а у Вас сумка новая?

Раздавался грохот, сумка летела со стола, Наталья кричала:

— К черту сундук этот...Затерзал меня ваш класс! Не могут дотерпеть, получить документ и избавиться от ненавистой этой школы... Наводите крылья параболе, наводите, говорю!! А ты, Ужегова, не смейся, смешки ей в голову идут, чего язык распустила? Он у тебя длинный, как у моей рябой коровы... (пауза) Быувшей.

Наталья извергала за урок столько смешного, что я больше не могла терпеть — начала за-

писывать ее перлы прямо на уроке в малюсенький блокнотик. Не скрою, потом мы читали это с подружками вслух, утирали слезы, держались за животики и снова рыдали.

— Ой, подожди, как она сказала? «Вам не толкнуло в мысль?» — ой, сейчас помру...

— А вот-вот, послушай: «Милые мои, вы ж мне всю печень источили...» «До Домаскина у меня давно зуд наточен».

— Зуд?! — хи-хи-хи, представляешь, как она точит свой зуд?

Про себя Наталья Петровна часто говорила в третьем лице.

— Ну, кто принес математические таблицы? Понятно дело, никто. Наталья не принесет — так кто вспомнит?!

— Пяльте глаза на доуску! Наталья ж всю ночь мыслила, чтобы вас, паразитов, вести.

— Наталья эту галиматью зачем писала? Чтобы у вас от доски на зубок отсткакивало...

— Ух, Наталья, дай Бог терпения,— закатывала она глаза и добавляла,— как говорит моя бабка... Совсем глушею я с вами...

Кто-то рассказал ей про мои записи. Она, похоже, обиделась, начала смотреть на меня с какой-то, как мне казалось, грустью, и мне было даже немножко стыдно. Мстить Наталья не стала. Она была хорошей теткой. Свою четверку для аттестата я получила. Только однажды она не сдержалась:

— Гм-м-м, — выдохнула Наталья с устрашающим шипением, — ж-ж-журналыстом себя мним?! А жизнь стукнет по голове, — учителем матема-ти-ки станешь...

## **БАНИОНИС**

Это было обыкновенное лето, каникулы перед десятым классом. Иногда нам везло — папе, связанному по работе с Уралмашзаводом, выделяли путевку на озеро Балтым в замечательный по тем временам ведомственный дом отдыха. Составы взрослых менялись в зависимости от отпускного времени, а дети продолжали загорать, купаться и бегать по лесу, сколько было возможно...

— Я смотрю, — мой брат рассказывает это жене Марине, — идет по тропинке Донатас Банионис, представляешь? Ну так, гуляет по лесу... Я ему от неожиданности — здрасьте. Он — здрав-ствуй-тэ! Ну, похож мужик...

— Да, жаркая погода, это ж надо такому при-видеться.

Через несколько минут Мариша, запыхавшись, влетела в комнату:

— Я тоже видела.

Мы с ее сестричкой и моей одноклассницей Иринкой прыснули — еще одна...

Банионис был в ту пору очень модным киноактером. Фильм «Мертвый сезон» народ смотрел по сто раз, он вышел года за четыре до этого. Благодаря своей прибалтийской принадлежности, ласкающему уху акценту в телевизионных интервью и, конечно, актерскому мастерству и шарму, Банионис был тогда легендарной личностью. Да вы хотя бы произнесите — Донатас Банионис. И что же, вот так бредет по уральскому лесочку, по дорожке, один, в вязаном свитерке?! К вечеру легло. Выяснилось, что, по крайней мере, это не

глуки. Свердловская киностудия пригласила Баниониса и его жену сняться в каком-то нудном — даже он его не спас — кинофильме, мы потом его посмотрели. Их поселили в летнем домике директора Уралмашзавода, находящемся на одной территории с нашим корпусом, и возили в город на съемки. Рано утром следующего дня мы увидели заведующую пансионатом, закапывающую толстенные боровички по кромкам тропинки, по которой ходили Банионис с женой... Видимо, потрясение было сильным для всех. И ничего бы не случилось больше примечательного, если бы они не взяли с собой сына. Ах, каким же он казался не похожим на наших одноклассников, хотя был нам ровесником. Тонкий, галантный, и одежда другая, и слова не те: «Я — Раймондас Банионис, очень приятно» и протянул руку — короче, иностранец, да еще красавчик. Ну, наши вымрут, когда расскажем.

Вначале мы только здоровались, но потом летнее ничегонеделание, солнышко, словом, расслабуха, стерли восторженную дистанцию, установленную нами самими, и мы осмелились

вместе гулять по лесу, ходить на озеро и разговаривать: Иришка, Райма (так он попросил его называть) и я. В основном говорил Райма — к этому времени он объездил с отцом многие страны, и ему было что рассказать двум девушкам с открытыми ртами. Мы слушали его, затаив дыхание, и старались выглядеть при этом не очень глупо. Ну, естественно, мы были немножко влюблены в него, так, самую малость — женская интуиция подсказывала бесперспективность этого юношеского флирта и обреченность на неуспех, а расстраиваться совершенно не хотелось. К тому же, если честно, самого факта знакомства с таким мальчиком вполне хватало для итогов летних каникул. Разговоры о зарубежных путешествиях закончились быстро, и «маршрут» в рассказах был повернут в сторону Паневежиса, литовского городка, в котором старший Банионис играл в театре много десятилетий — его приглашали и в Вильнюс, и в Москву, но он был влюблен в свой театр, в свой город и не собирался им изменять. Мы «гуляли» вместе с Раймой по узеньким улочкам, по мощеным мостовым... А

улица, на которой он жил в Паневежисе, называлась обыкновенно — Гагарина... Однако самое большое потрясение было впереди.

— Обязательно настанет день, — вдруг сказал Райма, тряхнув своими длинными русыми волосами, — когда наша Литва будет свободной! В темноте казалось, что глаза его сверкнули.

— В каком смысле?

— А что, вам нужно объяснять, что она оккупирована советскими войсками?

Вот это поворот событий! Нам только исполнилось по шестнадцать. Мы — обыкновенные девчонки-комсомолки из 10-«бэ» класса. Мы любим свою страну и знаем, что она состоит из пятнадцати дружных республик. У нас пятерки по истории, и мы знаем, что Прибалтика присоединилась к Союзу перед войной. И еще мы не дурочки. Но оккупирована... Раймондас говорил и говорил. И слушать его хотелось снова, и снова — эффект запретного плода, запах крамолы, азарт от преступных мыслей... В этом было что-то романтично-революционное — ночные опасные разговоры, которые мы вели каждый день, как стемнеет.

Ему очень хотелось, чтобы до нас дошла правда, а нам так хотелось его понять, ведь все мы были друг другу симпатичны.

— Ириша, — шептала я, укладываясь спать, — по-моему, Донатас Банионис в Верховном Совете, у него ведь явно такие же мысли.

— Ну, и что, ты чувствуешь, это же все, наверно, так и есть...

Мы подружились еще больше, теперь нас связывала еще и политическая тайна. А потом на Балтым приехала девчонка Наташка, ну, так, ничего особенного, и Райма два раза уходил кататься с ней на лодке, не позвав нас. Мы, понятно, ревновали, но были спокойны: этой белобрысой ТАКОЕ никогда не доверят.

## ***МЫ С КОЗЛЯТИНОЙ***

Трещит мороз. Мы вываливаемся из университета и смеемся, хохочем так, что просто загибаемся... — Ой-ой-ой, не могу... Почему так весело? Да не почему... Погода ясная, снег

скрипит под ногами, занятия закончились. Мы переходим дорогу, пропрыгиваем мимо каменного Якова Михайловича Свердлова и, минуя Оперный театр, катимся в хлебный магазин. Центральная булочная нашего города пахнет свежей вкуснятиной. Мы знаем, зачем пришли. Выбиваем 16 копеек и получаем тепленький изящный небольшой батон под названием «Студенческий». Мы, конечно, могли бы купить три пирожка с повидлом за эти деньги или две саечки по семь, и еще бы сдача осталась, или добавить две копейки и приобрести целую огромную буханку ноздреватого пшеничного хлеба, но покупаем именно его, «Студенческий». Не думая и не сомневаясь. Нам нравится само слово — студенческий. Студен-ты. Это мы! Мы с Козлятиной. Козлятина — это Анькино прозвище: из фамилии легко образовалось и приклеилось. Три года мы посещали школу юных корреспондентов при Уральском университете, там и познакомились, потом вместе поступали... и поступили. Две малявочки, мечтающие о журнальчике.

Солнышко светит, пар изо рта, а во рту — «Студенческий» и смешинки. Нам по 18 лет, и мы уже взрослые. Такое Счастье. И так почти каждый день. Но не долго. За нами увязывается Любарский. Любарский?! Да он со мной в колхозе в одной бригаде был. Колхоз — это такая обязателька студенческая перед началом занятий. Когда надо было ведро с картошкой тащить, этот Любарский принципиально закуривал. Козлятина с Маринкой Шафран из другой бригады сильно возмущались и обижались за меня — надо его проучить! И что теперь он за нами ходит?! Наверно, искупает вину — портфельчик у Козлятины выхватывает и несет. Я бы не дала свой. Принципиально. Вид у него сосредоточенный и серьезный — смеяться как-то уже неудобно, да и не хочется. Я сержусь на него, про себя, конечно, и совершенно не понимаю, почему Козлятина все это терпит. Ну, и батон уже совсем ни к месту.

...Мы едем на романтическую практику, за тридевять земель, в Читу, трое суток в поезде —

Козлятина, я и Лида Шленская. У Аньки в руках поллитровая зеленая бутылка, на которой крупными буквами написано: «Внутреннее». Она с ней не расстанется — пить нужно по столовой ложке три раза в день или даже четыре. Врачиха прописала, чтобы не тошнило. А почему тошнит? Никто не знает. Среди нас самая опытная — Лида: «Ань, а, может, ты беременная?» В глазах — догадка, радость, перепуг, в руках — большая ложка...

Две дочери Любарских давно вышли замуж, родили трех чудных мальчишек и одну девочку. Брак Ани и Илюши, один из считанных студенческих, уцелел в дебрях десятилетий. Наверно, Козлятина еще тогда почувствовала, что из Любарского получится отменный дед, и, кстати, надежный друг.

## **ЭЛЬ ПУЭБЛО УНИДО**

Я любила их той страстной любовью, которая рождается в незамутненном возрасте, в не тронутым бедами сердце, в чистой душе, еще не умеющей приспособливаться. Я любила их всех вместе и по одному — нежно, безоглядно, порывисто. Они казались мне такими хорошими, такими добрыми, такими умными, такими талантливыми! Я благодарила Б-га за музыкальный слух, а родителей — за то, что отдали меня в детстве в музыкальную школу, ведь иначе я не смогла бы оказаться в гуще такой потрясающей жизни. Когда мы учились на втором курсе, в нашем университете решили создать ансамбль политической песни — довольно модное в социалистических странах идеологическое движение семидесятых, даже международный фестиваль существовал «Красная гвоздика», чтоб ему неладно...

Репетировали вначале один раз в неделю, потом два, потом бесчисленное количество раз с перерывом на сессии. Название нашего ансамбля было тоже в стиле периода — «Аванте». Изка Огоновская с истфака — заводила,

запевала, лидер. Она и на вид — красный командир: длинные гладко зачесанные волосы, чаще собранные в хвост, куртка — сейчас мне кажется, что кожаная, но откуда бы ей взяться тогда? — таким видится образ... Голос красивый, поставленный от природы. Мальчишки классно владели гитарой, я как услышала, свою спрятала и не прикасалась долго, стеснялась: люди так играют! Чуть позже пришел новый руководитель, теперь уж и не помню, откуда он взялся, — Владимир, студент дирижерско-хорового отделения нашей Уральской консерватории, привел с собой брата — тоже человека музыкального. Мы подолгу распевали «Ми-мэ-ма-мо-му», старательно «посылали» звук через нос, учились правильно мычать и, по всей вероятности, прошли неплохой многочасовой курс вокала. Володя был очень серьезным мальчиком, а мы — послушными и работоспособными: вскоре ансамбль зазвучал ярче, многоголоснее, профессиональнее! Брюки-клеш от бедра, синие рубашки у девчонок, красные — у мальчишек, горящие глаза, иностранные тексты. Надо объяснить, почему ино-

странные. Жанр политической песни включал в себя исполнение революционных песен, скажем, «Вихри враждебные веют над нами», патриотических, вроде той, что «Не нужен мне берег турецкий», советских а-ля «Куба — любовь моя, остров зари багровой» и песен тех стран, которые боролись в тот исторический момент за свое освобождение и светлое построение коммунизма — «Эль пуэбло унидо хамас сера венсидо!»... Мы скандировали нечто подобное отменно, зная тексты наизусть, а также их переводы, чтобы правильно донести до зрителя наши пылающие чувства. Честное слово, это было очень правдиво, вполне бездумно, совершенно в духе того времени — мы были однозначно солидарны с борющимся, абстрактным для нас, чилийским народом до дрожи в организме!

Вообще латиноамериканские мелодии в музыкальном плане — такая завораживающая субстанция: эти драные ритмы, это будоражащее пятиголосье, эти заморские инструменты. Вот счастье-то: мне поручили, нет, доверили(!) какую-то трещотку, я трещала дома целыми

днями, уже большая девочка, примерно двадцати лет, пока не сроднилась с ней. Родители, как всегда, терпели постоянный шум, да что там терпели... Они обожали, когда мы собирались всем ансамблем у нас дома на какой-нибудь праздник. Папа с мамой забирались в спальню, уступая нам большую комнату, ложились поудобнее и наслаждались. За стенкой грохотала латиноамериканская бодрость, и это был тот случай, когда за полночное пение нас не гоняли даже соседи. Предполагаю, что они тоже, как и мои родители, сидели с открытыми ртами и слушали ...

Мне потом повезет не единожды испытать радость коллективного творчества. Но тогда — то ли по молодости, то ли от удивления, что это произошло со мной, то ли вообще от свежести чувств, все казалось каким-то необыкновенным — бескорыстный единый порыв! Не влюбиться было просто нельзя — в мальчиков с гитарами, в девочек-непустышек, в эти чудные красивые юные лица. Фотографии каждого висели у меня на стене, я вставала с постели и смотрела на них, и любила, любила... Летом,

когда всех студентов посылали на сбор картофеля, мы — голубая студенческая кровь — брали свои инструменты и ездили по колхозам с концертами, иногда шли из одного в другой пешим ходом, с песнями во все горло — разве можно было мечтать о большем? На фоне полного и прочного покоя на душе однажды вечером раздался звонок. Звонила моя близкая подружка Наташка из ансамбля.

— Маш, ты слышала, что случилось?

— Нет, а что такое?

— Позвонил Володя и сказал, что нас приглашают в ГДР на фестиваль «Красная гвоздика»

— Ух, ты, — обрадовалась я, — не может быть!?

— Еще как может... Только знаешь что...

Она замялась и замолчала, потом собралась с духом:

— Он решил уменьшить ансамбль, оставить где-то половину, остальных просто убрать. Те, кто пойдет с ним, — поедут в Берлин. Знаешь, мне предложил тоже, я думаю, если соглашусь, наверно, совершу предательство, особенно по отношению к тебе...

К ночи мы знали точно, кому сделали такое предложение. Волновались, но не очень, говорили — надо же, он что, вдруг совсем обалдел, кто же согласится на такое?! Да никто и никогда, тоже придумал, мы ж не разлей вода, мы ж одно целое, как это у него язык повернулся такое сказать людям!? Может, мы что-то не поняли? Не разобрались до конца? Утром узнали, что все, кому он позвонил с этим сюрреалистическим предложением, согласились. Все до единого. И Наташка тоже. Наташка?! Этого просто не может быть! О, как же, оказывается, страшно, когда тебя предают, особенно впервые в жизни! Ты еще не знаешь, как реагирует на это твой организм, каждая твоя клеточка, еще наполненная вчерашним счастьем, как прочно устраивается комок в горле и стучит сердце, как обжигает тело, и оно становится слабым, как тряпка. Мозг ничего не желает анализировать, понимать, объяснять. Ты раздавлен танком, ты размазан и выброшен за ненужностью, у тебя отобрали самое дорогое и, казалось, вечное... Жизнь кончилась. На следующий день у нас с Маринкой Шафран был

экзамен. Мы вынуждены были пойти на него. Я взяла билет и пыталась прочесть, что в нем написано, но буквы скакали и не складывались в предложения, а слезы капали прямо на вопросы... Мне кажется, с Маришей было то же самое. Вряд ли мы походили на тех, кто вытянул неудачный билет, и преподавательница тихонько спросила у других девчонок: «У них что, кто-то умер?». Умер, умер.

Недавно Огоновская приехала в Израиль повидаться с друзьями и встретила там с нашим Аркашей Богдановичем, они соединились со мной по Скайпу в Канаде, я тут же связалась с Маринкой, у которой однако была уже ночь — она живет много лет в Хабаровске на Дальнем Востоке... Орали, как сумасшедшие, перебивая друг друга, потом Аркадонт взял свою тель-авивскую гитару и мы «через годы и расстояния» грянули: «...Кэ бонита бандера ля бандера пуэрторикения», правда, слова подзабыли... Интернет, после этого отключился по неизвестной причине на несколько часов, а Маринка заметила: «Маруся, Космос этого не выдержал».

Иза Огоновская стала профессором на своем же истфаке. Преподает. Пишет научные работы. Сочиняет песни. Иногда выступает со студенческим ансамблем «Аванте». Про Наташку ничего не знаю. После того телефонного звонка я с ней не разговаривала, скоро уж как сорок лет. Володя долго и успешно возглавлял хирургически отрезанный кусок коллектива, из политического ансамбль довольно быстро — нос по ветру — превратился в фольклорный. Несколько лет назад он, говорят, неожиданно ушел из мира и стал батюшкой, кто его знает, почему.

## ***СОЛОВЕЙЧИК***

К тому времени я прочитала все книги Симона Львовича Соловейчика. Они стояли у меня на полочке, одну из них «Час ученичества» я не сдержалась и «увела» из библиотеки, отдав за потерю «два Пушкина». Иногда попадались его газетные статьи, которые я вырезала и скла-



дывала в папочку. Любовь эта была разделена с преподавателем факультета журналистики Леной Ивановной Фроловой, женщиной необыкновенно заводной и слишком эмоциональной для серьезного идеологического факультета — «Потрясающая статья, потрясающая!!! Мы разберем ее с вами на семинаре». К пятому курсу, когда нужно было выбирать тему дипломной работы, Фролова предложила: «А давай возьмем Соловейчика», и сама тут же поправилась: «Мы попробуем это пробить».

Естественно, среди предложенных тем, нашей в списке не было — хотя Соловейчик и печатался в центральной прессе, имя его было по не понятным мне тогда причинам каким-то полуопальным, слишком еврейским и не очень выигрышным для защиты диплома.

— Ну, что-о-о Вы... — протянул декан факультета, — какой там Соловейчик, возьмите, к примеру, Константина Симонова ...

Кто-то из преподавателей хихикнул: «Тоже на С».

Однако ответная речь Фроловой была настолько зажигательной, а любовь к Соловейчику настолько неподдельной, что мнение кафедры вначале пошатнулось, потом осторожно перекатилось на сторону пламенного оратора и на пике «педагогика — одна из важнейших тем советской печати!» снизошло: «Хорошо, начинайте работу» .

Конечно, сейчас же, немедленно! Пока никто не опомнился, для меня быстренько оформили творческую командировку в Москву. И только после этого мы сообразили, что найти Соловейчика не так просто. Он был к тому времени

«свободным художником», правда, членом Союза писателей — одна «привязка» все же существовала...

— Здравствуйте, Симон Львович, — с волнением произнесла я в трубку, — я студентка факультета журналистики Уральского госуниверситета, и у меня диплом по Вашему творчеству.

— О-хо, вот это да, никто еще не исследовал мое замечательное творчество, — засмеялся он, — Вы — первая! Пожалуйста, приезжайте, буду рад помочь.

Квартира Соловейчика находилась в Коптельском переулке и была типичной московской квартирой — не очень большой, но с высокими потолками и коридорными переходами. Комната, где мы расположились, служила кабинетом писателя и детской одновременно. «Старший сын в армии, дочка — Катя, познакомься, а это наш поздний».

«Поздний» был симпатягой, стоял в кровати, улыбался и подпрыгивал в хорошем сытом настроении. Мне был 21 год. Думаю, я мало что понимала в проблемах педагогики, хотя и пыталась специализироваться на них в прессе,

однако я интуитивно чувствовала, что он — настоящий, что Соловейчик — тот человек, который точно знает, как нужно воспитывать детей в школе и дома, чтобы они получались хорошими людьми. Я задавала ему дурацкие вопросы по его творчеству — про книжки и про передовые методы в педагогике и, не понимая того, — про свободу печати... Борьба за совершенно новые педагогические методы в «застойные» 70-е годы была делом не простым, а очень даже тонким — нужно было найти и распознать этих неравнодушных новаторов среди учительских полков, написать так, чтобы напечатали, а не зарубили тему сразу... Это сейчас бы я писала диплом о журналистес-рыщаре, о мудреце-философе, добрейшем человеке, любящем детей, учителей, да весь этот мир со всеми его вечными проблемами, а тогда... «Кондово-партийные» места в моей работе поправила Фролова, изрядно дорисовав мои вступительные главы про советскую педагогику, иначе я просто не смогла бы защититься. Я произнесла свою отрепетированную у зеркала речь в защиту любимого журналиста и писате-

ля, а заодно и в защиту учителей-новаторов. Кто-то из комиссии буркнул: «Ну, уж не стоит из них делать героев». Однако мой искренний порыв сделал свое дело, и я, подпрыгивая от счастья, побежала давать телеграмму Соловейчику: «Я защитила Вас на отлично!». После университета меня отправили по распределению в Узбекистан, в Наманганскую областную газету. Зная биографию Соловейчика наизусть, я не могла пропустить его 50-летие. Меня распирало от разнообразных планов. Я их прокручивала, изменяла, снова придумывала что-то новенькое, однако решила точно — полечу!

Жила я в городе, где активно занимались разведением роз. Поскольку в магазине купить их было невозможно, я попросила знакомого со станции натуралистов так упаковать мне несколько цветов, чтобы они долетели до Москвы свежими. «Все готово, Машахон», — уверенно сказал мой знакомый и протянул мне небольшой увесистый ящичек. И я подумала, что там внутри какое-то устройство с водой, иначе бы откуда взяться весу? Когда в Москве, в общепитии журфака МГУ, где я остановилась,

ящик был раскупорен, я, кажется, взвизгнула от удивления: «Ой, мама». В нем было плотно утрамбовано несколько десятков нераспустившихся разноцветных головок, держащихся на изящных и колючих стеблях. Постояв пару минут в шоке, я бросила все цветы в ванну и залила холодной водой. Небольшая ванная студентов МГУ наполнилась ароматом и неузнаваемо облагородилась. Весь вечер я всем раздавала розы и чувствовала себя волшебницей. Утром надела специально сшитое для юбилея Симона Львовича пальто из бордового бархата, сложила огромный букет из уже распустившихся сногшибательных роз — сколько могла унести, взяла оранжевую дыню, которую прихватила из своего Узбекистана, и поехала в Коптельский переулок, переполненная волнением и радостью, что я все же здорово хорошо обдумала свой план. Сюрприз действительно удался. Розы благоухали, дыня, выглядевшая внутри, как морковка, по-южному пахла на всю московскую квартиру, пальто произвело ожидаемый эффект — «Ах, какое же красивое пальто!». А теща Симона Львовича, очень колоритная старушка, заметила:

— Сима, ты видишь, какие все-таки добрые и хорошие люди живут в Узбекистане. На что Соловейчик ответил ей:

— Маша работает там в редакции по распределению, а вообще она с Урала.

— Сима, ты видишь, какие добрые и хорошие люди живут на Урале!?

Вечером на юбилей Соловейчика собрались его друзья. Ой, мамочки, так это же живой Р... мы «сдавали» его на экзамене, а там слева, ну, конечно, он из «Комсомолки», не может быть... Боже мой, а как я выгляжу?! — надо было надеть другое платье и посмотреть в зеркало. Я могла быть совершенно спокойна, никто меня серьезно не воспринимал — думаю, мне тогда на вид можно было дать с трудом лет 18...

— Вот это Маша, — представлял меня Соловейчик с греющей мою душу гордостью и доброй иронией, — представляете, она защитила диплом по моему творчеству! «Везет тебе, Сима, а вот про меня никто не написал...» — с этими словами один «живой классик» пригласил меня танцевать... Завтра, уже завтра я полечу домой и

смогу рассказать об этом Аньке — она лопнет от впечатлений!

Его книги по сей день стоят у меня на полке, уцелев в многочисленных переездах по миру. Они вне времени, хотя очень привязаны к нему, и вне пространства... Наверно, это забавно, но потом, когда у меня появились свои дети, в трудных ситуациях я искала в них описание сходных случаев и пыталась смоделировать свое поведение... Много лет я поступала и писала с оглядкой: «А что бы сказал Соловейчик?» Иногда мне казалось, что он хвалит меня — «Молодец, здорово». Иногда он как будто говорил мне: «Ты могла бы сделать это по-другому». Он бы не сказал «лучше», он сказал бы именно так — «по-другому». Я сообщала ему первому о своих перемещениях по свету. А когда он умер, так нелепо рано, я ощутила, что у меня не стало в жизни мудрого и все понимающего, молчаливого и дорогого для меня виртуального Советчика.

## **РОДНАЯ ДУША**

Моя Щербакова была Другая, не такая, как все. Собственно, почему была? Она есть. Она еще как есть! Но мы не виделись сто лет, не перезванивались, не переписывались — ну, разве что раз в пять-шесть лет, когда-никогда, если кто-то из нас разводился... Она сказала: «Когда ты уехала, мне как будто отрезали правую руку». А если отрезали, то ведь пришить нельзя, так ведь? Первое время я ее не понимала... Потом плакала и скучала... Потом пыталась узнать через своих подруг, что случилось? Почему не отвечает на письма? А потом свыклась, повзрослела еще на один виток, оценила ситуацию, как-то объяснила себе все, не обиделась, а снова сказала себе: просто она Другая. Мы познакомились — страшно сказать где — в штабе КНИГУРРа. В 80-х годах на Областной станции юных туристов в Свердловске (Екатеринбурге) собрали творческий народ, который должен был составить книгу уральских ребят — отсюда это жуткое название штаба.

— Ну, что, — раздался звонкий смех, — будем книжку писать?

— Посерьезней, пожалуйста, Лена, — вставила начальник штаба со странным именем Аэлита.

А я, как первоклашка, сразу про себя отметила: «Эту люблю, а эту не очень». Чем больше я узнавала Лену, тем отчетливее понимала, что мы совершенно одинаково воспринимаем окружающее пространство и людей, находящихся в нем, несмотря на то, что ей было лет на двадцать больше, чем мне. Я была младше Щербаковой на «целого Лешку», ее сына — моего ровесника. Мне казалось, что я уже знаю каждый шаг ее жизни, и шаги эти виделись мне настолько романтически прекрасными и были для меня настолько понятными и правильными, что я знала: Щербакова — это я, вернее, это была бы я, если бы жила в той ее жизни, или, еще точнее, — я бы поступала точно также, если бы могла быть Щербаковой... Ее стихи, которые она читала, размахивая руками, и всегда с открытой улыбкой, даже если они были грустными, я слушала, замирая не от рифм и не от их музыкальности, не от их родниковой чистоты и не от поэтических находок.

Я замирала от того, что это были бы мои стихи, если бы я только умела их писать... Теперь в воспоминаниях всплывают почему-то не черно-белые и не цветные картины нашей жизни, а какие-то размытые акварельки, нежные и трогательные. Ленины собаки — шикарные ирландские сеттеры, маленькая и умненькая дворовая собачонка Варька с бусинками-глазками, сиамская кошка Анчута, которая спала со мной на одном диванчике, когда я оставалась ночевать у Лены, но однажды коварно разодрала мне ногу — вот была та еще история...

Ленина квартира утопала в вечном ремонте десятками лет. Странная, вся перегороженная какими-то строительными «лесами», но такая при этом уютная и теплая. Ее грели картины друзей-художников, многочисленные камни — малюсенькие и огромные, серенькие и сверкающие, обработанные и вынутые прямо из земли... Такое многоцветье! У каждого была своя история, своя легенда. Лена брала камень в руку, гладила, прижимала к себе, как щенка, и заворожено повторяла: «Ты видишь, какой он родной, это с Северного Урала...».

Щербакова много лет работала геологом, до того, как стала телевизионным журналистом, причем была счастливым и удачливым геологом, от Бога. Про нее рассказывали всякие были-небылицы: ищут месторождение — найти не могут, приборы не помогают, никакая наука не действует. Приходит Щербакова, глядит на землю туда-сюда, вроде, как грибы ищет, топает ногой и говорит: «Копать будем здесь». Никогда не ошибалась. Я сейчас не помню, какое именно, но знаю точно, что она открыла месторождение, за которое получила Ленинскую премию. Премию поужали по пути к адресату, как это водилось, но швейную машинку — ее многолетнюю мечту — купить удалось. В квартире всегда кто-то ночевал, всегда кто-то пел и всегда кто-то ел... К дому прибывались надолго, иногда на десятки лет. В этой симпатичной и ладной чехарде (бывает так?), конечно, имели место Мужчины, Мужья, Дети — я застала большого оригинала, крепкого друга, «двоюродного мужа» Докучаева, который позвонил мне через двадцать лет и спросил, сколько времени...

Вчера шел дождь и было пасмурно. А сегодня солнце и легкий ветерок. Завтра зима, но потом вдруг капель, листочки зеленые... Двойка по математике — а сегодня пятерка... Любил и клялся в вечной любви — изменил, ушел... Но есть вечная любовь — мы простим ей все и на века... Тяжело до комка в горле, но это в прошлом, сейчас так легко, что петь хочется. Все естественно, без напряжения, светло, как в природе. Я обожала этот дом. У меня там были свои тапочки и ночная рубашка, зубная щетка и зонтик. Мама моя очень ревновала: «Не понимаю, что можно делать у Лены двое суток?!» Подруги тоже: «Что ты в ней нашла, она тебе в мамы годится». Только одна моя Маринка Перевалова была околдована чарами этого дома, она до сих пор иногда приезжает к Лене из другого города. Я знала, что Ленка моложе многих моих подруг. Я тогда еще поняла, что возраст — понятие хлипкое и ненужное, он ничего не отражает и не доказывает, ничего не решает и не меняет, кроме оболочки. Как-то ужасно довольная Щербакова, уплетая за обе щеки очередной торт с масляным кремом, сказала:

«Нам можно, мы с тобой никогда не потолстеем, это исключено — наша внутренняя энергия все спалит...»

— Маша, ты знаешь, какой у тебя голос! О, если бы у меня была половина такого голоса.

— А чего, голос как голос, совсем не сильный...

Я всегда пела — в школе, в музыкалке, в университетском ансамбле, но всегда с народом, коллективно, хором, — только не одна. У Лены не стеснялась, голосила, даже на гитаре играла. А потом познакомилась в этом же доме с бардом Виктором Харловым, и мы стали выступать на сцене, года два, наверно, пели с легкой щербаковской руки... «Это необыкновенно хорошо», — радовалась Лена. Скорее всего, это было обыкновенно неплохо, но искренний Ленин восторг растопил даже Харлова — уже много лет из него не извергалось столько новых песен.

— Маша, ты должна писать рассказы, садись немедленно, я чувствую, у тебя точно получится...

— Не знаю, Лен... Мне кажется, журналистика — это мое, но рассказы — что-то совсем другое, да и некогда просто литературно баловаться... Сидеть по ночам, кряхтеть, мучиться — кому это нужно?

Однако попробовала. Относились к этому с большой долей здоровой иронии, но исправно стучала на машинке на исходе дня. Почитать бы сейчас, но, вероятно, из-за собственного отношения к своему творчеству нетленка эта не сохранилась... А Лене все это нравилось, она даже отправила что-то в московский журнал. Не напечатали... Какая разница! В зеленые молоденькие годы рядом оказался человек, который ценил в тебе все росточки способностей, он их лелеял, выставлял напоказ, привлекал внимание других, создавал общественное мнение, ткал рисунок твоей начинающейся жизни, причем делал все это просто от доброй души, щедро, искренне, распахнуто... Потом мы отправляли меня на Чукотку, в Билибино, где работал Ленин сын, он обещал мне помочь устроиться в газету. И я, мерзляка до кончиков пальцев — «Мама, у меня мерзнет

все, что торчит...» — ненавидящая зиму, совсем не геолог и даже не путешественник, отчаянно рвалась туда, к северному сиянию, к трудностям и настоящим мужчинам, прикупив огромный овчинный милицейский тулуп, который едва поднимала. Меня не взяли. Оказалось, по национальному признаку — вот смешно-то, на Чукотку! А Щербакова сказала:

— Знаешь, я бы тоже хотела стать еврейкой, если бы точно знала, что у меня будут такие печально-зеленые глаза, как у тебя. Ничего: не взяли на Чукотку — поедем на Дальний Восток!

У Лены была очень красивая, просто умереть-не встать фигура (уверена, что и сейчас), обаятельнейшая из улыбок, длинные волосы, которые она часто красила и приговаривала: «Я ни разу не видела себя седой и не увижу никогда...»

Недавно я говорила по телефону с Маринкой, которая только что побывала у Лены:

— Ну, что тебе сказать? Все по-прежнему — у Щербаковой продолжается ее ремонт. Она полезла на стремянку, упала, получила сотрясение мозга. Я ей говорю: «Слушай, ну, хватит

уже, ты вообще помнишь, сколько тебе лет?!»  
Думаешь, что она мне ответила? «Нет, не помню. Мне ни к чему лишняя информация».

## **ЦАРЬ**

— Ой, лапочка, — иди ко мне, мой хороший, — я продолжала сюсюкать, не переставая.

— Ну, возьмите, — сказал работник московского зооцирка и вывалил мне на стол золоти-сто-палевое сокровище.

Мой рабочий стол в редакции «Наманганской правды» был покрыт толстым канцелярским стеклом, под которым хранились всякие нужные и ненужные бумажки, и поэтому его движения были похожи на неумелое катание по льду. Он подползал к краю стола, лапы разъезжались, тогда он пробовал собраться для прыжка, но как-то неуклюже откатывался назад. Такая неумеха...

— Ну, так к делу, Виталий Степанович, я записываю:

— Наш передвижной зооцирк знакомит жителей страны с бывшими четвероногими артистами кино и цирка, уже ушедшими на пенсию и готовит новых для съемок и аттракционов

— Звучит здорово, мне нравится.

— Среди них уссурийские тигры Байкал и Тайга, которые снимались в «Полосатом рейсе» и «Дерсу Узала», дуровская слониха Моника, бугримовский лев Нерон... Привести их к вам я не рискнул.

— Не надо, не надо, лучше мы — к вам...

— А вот его мама Юлька скоро выходит на арену цирка...

Виталий Степанович оказался словоохотливым и легким собеседником. И я строчила в свой блокнот все подряд — потом разберемся. Но что-то мешало мне сосредоточиться... Постоянное урчание, какое-то не известное уху раньше, нет, пожалуй, это что-то более серьезное, чем, скажем, урчание сытого кота, это — рык, не грозный, не страшный, не совершеннолетний, но вполне определенный рык животного.

Наши глаза встретились: мои зеленоватые, кошачьи — его светло-карие, кошачьи... Же-

ление уже непреодолимо: я хватаю его на руки — тяжелый какой — и крепко прижимаю к себе. Рык усиливается, но я чувствую, как он тоже тянется ко мне, кладет неожиданно тяжелую короткую лапу на мое плечо — похоже, полностью доверяет. В это мгновение мы совершенно равны: хищник и человек. Он еще безгрив и не знает, что даже при уготованной ему артистической судьбе такие нежности не для него — просто он дал слабину, потому что маленький, месячный, плюшевый несмышлениш... А я — разумное существо — понимаю, что вряд ли в жизни мне еще раз выпадет обнять Царя.

## ***ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ***

— Ты в Ереван зачем приехала? — спросила она с любопытством, не переставая работать пилочкой для ногтей.

— По музеям походить...

Она бросила быстрый оценивающий взгляд

на мои ноги — я, правда, не совсем поняла в этот момент, при чем здесь они? — потом задержалась на талии, пробежалась чуть выше и серьезно заметила:

— А в Ереван для этого не приезжают.

«Армянский друг» Саша по моей просьбе снял номер в гостинице «Кукуруза» — так называли ее в народе по архитектурной аналогии, куда я и прибыла, предвкушая туристское счастье от знакомства с новым городом. Номер оказался двухместным, и в нем уже обосновалась — «Я — Ирина, очень приятно». На вид ей было лет на пять больше, чем мне. Только она была крупная, даже больше подходит слово «добротная» женщина, с пышной грудью и не менее пышными бедрами. Голубые красивые глаза, мягкие ухоженные руки, крашенные блондинистые волосы подняты вверх. Видная.

— А кто это тебя привел?

— Это мой друг. Он приезжал в Свердловск по работе, я ему показывала наш город, а теперь вот сама решила Ереван посмотреть, он столько рассказывал о нем.

— Интересный. А почему он ушел? Из-за меня?

— Да нет, он домой пошел.

— Женат?

— Нет, давно разведен.

— Значит, больной.

— Ну, что Вы, он в полном порядке.

— А ты?

Это было неожиданно, но почему-то не обидно. Я как-то сразу ощутила в ней свою противоположность, но не отталкивающую, а, пожалуй, наоборот, притягивающую отсутствием условностей и принятых приличий — «Ну, давай, переодевайся, да прямо здесь, чего там, чаю попьем, поболтаем». Я с легкостью задрала платье и, не успев выпутаться из него, услышала одобрительное: «Ух, ты, вот это да... на оч-ч-чень большого любителя». Удивившись сама себе, я не стала судорожно хвататься за халат, а гордо расправилась и даже, кажется, кокетливо улыбнулась. Она попала в одну из болевых точек, оставшихся с подросткового возраста, — тонкая талия делала гитарообразный изгиб, подчеркивая основы и непоколебимую мысль о моей несовременной фигуре.

«Болевая точка» была за мгновение обезболена. Мы пили чай с пирожными, которые Ирина достала из красивой коробки — «Знакомый подарил» — и обсуждали «Альтиста Данилова», которого не так давно напечатали в толстом журнале.

— Знаешь, у меня есть возможность следить за всеми новинками — я работаю в библиотеке. Городок наш маленький, но библиотека хорошая, тем более, что я сама книжки для нее приобретаю. Когда училась в Московском университете на филфаке, мечтала, конечно, о большем. Так получилось — у меня мама старенькая, сестра, пришлось вернуться домой. Ну, ничего, я еще оттуда уеду, — сказала она, как будто пригрозив кому-то.

— Ира, а ты что здесь делаешь, в Ереване?

— Ой, здорово, перешла на ты, наконец-то. Я сюда езжу отдыхать, — засмеялась она, — на гастроли. У меня есть здесь жених, армянин, хороший человек, при большой должности, правда, жутко ревнивый. Он бы женился на мне хоть завтра, но у него умерла мама, по их обычаям мне придется долго ждать его предло-

жения, а это не очень-то входит в мои планы. Вообще я в Ереване жила пару лет и... Она замолчала и предложила: «А давай пойдем спать, уже поздно». Утром я проснулась от жужжания фена. Ирина стояла перед зеркалом, уже накрашенная и свеженькая, как персик: «Вставай побыстрее, наноси боевой окрас и пойдем завтракать в ресторан». В мои финансовые планы никак не входили рестораны, а если сказать правду, то, к своему стыду, я никогда в жизни не начинала утро с завтрака в ресторане и, больше того, даже не представляла, как это делается.

— Да нет, спасибо, я, пожалуй, в музей пойду.

— Так, не морочь голову, я плачу. Побольше краски, немедленно нанеси побольше, ну же, не так скромно, женщина всегда должна быть готова к встрече с Мужчиной.

Мы спустились вниз в скоростном лифте. Внизу к Ирине подлетел пожилой красавец с седой гривой: «Как ты, Ырочка?» — произнес он с армянским акцентом.

— Спасибо, Арсен, я в порядке. Когда ты сегодня освободишься?

— После работы, как всегда, может, чуть раньше... Я заеду за тобой, дарагая... А это кто?

— Ой, я забыла тебе представить, — вспомнила Ирина обо мне, — это моя соседка по номеру. Мы пошли в ресторан.

Меня снова оценили: «С этой можно», — серьезно сказал Арсен.

— Сомнительный комплимент, — подумала я, и мы вышли на одну из центральных улиц. Я с радостью вдохнула южный воздух своего отпуска, и мы нырнули в толпу. Мужчины, шедшие за нами, ускорили шаг. Те, что оказались сбоку, сразу же начали забегать вперед, наперебой спрашивая время, будто все часы города Еревана встали у всех, кроме нас. Один таксист вдруг поехал совершенно перпендикулярно полосам под сумасшедшее бибикание встречных машин и крики водителей и, оказавшись около нас, закричал из окна: «Дэвушки, дай, подвэзу». Та-а-к, интересно, что происходит?! Кажется, я выгляжу вполне прилично — бежевое велюровое платье с шоколадной отделкой, довольно модное, сшила перед отъездом, — но я не выделяюсь в толпе, нет, пожа-

луй, совсем не торчу, больше того, вполне могу внешне сойти за армянку, спешащую на работу. Нет сомнения, все эти взгляды, цоканья и вопросы про время обращены к Ирине. На фоне городской смугло-армянской толпы она стала выглядеть еще ярче и белокурой в своем розовом облегающем костюмчике с явным акцентом на декольте. Было немного неуютно от этого обрушившегося внимания, хотя к тому моменту я имела уже трехгодичный опыт проживания в одной из южных республик. Пожалуй, даже очень неуютно. Ирина чувствовала себя прелестно — кому-то снисходительно улыбалась, кому-то вежливо отвечала, даже здоровалась — «О, привет, солнце, как дела?» — и продолжала нести свою пышность с достоинством королевы. Мы зашли в ресторан, и спектакль продолжился. В зале почему-то сидели одни мужчины. Когда мы вошли туда, нет, правильнее сказать, когда вошла Ирина, каждый из них замер — кто с кусочком яичницы по дороге в рот, кто с торчащей вилкой, кто с чашкой кофе в неестественной позе. Несколько десятков мужских глаз впились в нее — вот

это да, натуральный столбняк! Сели за столик, Ира попросила: «Пожалуйста, кофе, пару бутербродов с икрой и что-нибудь сладенькое, ну, ты знаешь, что я люблю». В этот момент один из застывших резко встал и решительно направился к нашему столику.

— Баграт, — представился он без улыбки. — Можно присесть? И сел, не дожидаясь ответа, рядом с Ириной. — Я Вас гдэ-то уже видэл... А что Вы дэлаете сэгодня вэчером?

Дальше шла длинная вереница вопросов, из которых было ясно — пристаёт. Ирина ответила, что она занята и очень спокойно рассказала этому первому встречному, что у нее здесь есть жених. Наконец он, как бы очнувшись, вдруг увидел меня: «А это кто?!»

— Моя подруга, — почти с гордостью ответила Ирина.

— Шахматыстка, что ли?

Я схлопотала третью оценку — не многовато ли за одни сутки?

Целый день я бродила по музеям, душа пела от красоты, а улочки с домами из розового туфа были как будто ее продолжением. Пряный

воздух пьянил и успокаивал — все хорошо, все так хорошо! Уставшая и переполненная по макушку впечатлениями, я вернулась в гостиницу. Сейчас расскажу Ире, что я видела!

— Нет, ты представляешь, какой ревнивый этот Арсен,— получила я с порога,— меня приглашают в гости в Тбилиси, а он меня не пускает. Мне так хочется развеяться, не знаю, что делать. Если уеду без спросу, — голову оторвет... Ой, а знаешь, что? Поехали со мной — тебе понравится. Мой знакомый — заместитель министра плодоовощной промышленности, у него такой дом! — ты такого точно никогда не видела. Отдохнем, покушаем вкусно-вкусно, — она даже зажмурилась, — а потом он тебе подарит вагон с мандаринами.

— Хорошая шутка

— Это не шутка, я серьезно. Возьмешь вагон и продашь в своем Свердловске.

— Ир, ты чего? Как это, «возьмешь вагон»? Я его что ли на себе понесу? И зачем он мне нужен?! И за что он мне его вдруг подарит?

— Ну, я вижу, ты совсем еще девочка, — она с любопытством, а может, с жалостью на меня посмотрела, — сохранилась же как-то...

Должна признаться, что мое профессиональное любопытство, страсть влипнуть в интересные ситуации и предвкушение того, как я буду потом описывать друзьям поездку в Грузию — и с вагоном обратно, почти победили женскую бдительность. Я уже готова была согласиться. К счастью, мечта Ирины рассосалась: она все же решила не расстраивать закипающего Арсена.

— Не думай про меня очень плохо, — сказала она — да, я использую мужчин, а что мне делать? Я вернулась в свой городишко после университета, а он — вонючий, противный, весь какой-то повалившийся, алкаши кругом. Сестру с ребенком муж бросил, пил, бил, а потом бросил, она еле концы с концами сводила, мама одна, пенсия грошовая, моя зарплата в библиотеке — что с того, что МГУ закончила, — 90 рублей. Я дотянула до лета и полетела в отпуск в Ереван. Мои бы меня не узнали. А я как будто роль играла — из тихой и забитой библиотечарши-провинциалки превратилась в секс-бомбу. А что? Знаешь, как армяне любят блондинок, да еще кругленьких?

— Да, я видела...

— Я не какая-то там, я искала приличного и на долгий срок. В общем, знаешь, получалось. Я каждый год туда ездила, в отпуск. И вот однажды так повезло, ты не представляешь. Он швед был, инженер, что-то строил тут. Снял мне квартиру, обставил, купил все-все. Вот посмотри фотографии.

— Ух, ты, — вырвалось у меня, как вырвалось бы у любого советского человека, — на снимках была, вроде, Ирина и, вроде, не она. Шикарные халаты, отделанные мехом, вечерние сверкающие платья, какая-то заморская посуда.

— Я потихонечку маме с сестрой посылки отправляла, здорово помогала, даже шубу сестре смогла сделать. Все было бы хорошо, только я влюбилась. Знаешь, по-настоящему. Он был такой добрый, ласковый, никто так ко мне не относился, жизнь такая красивая наладилась, как в кино, потом сказал, что с мамой познакомит. Я летала от счастья и не задумывалась ни о чем! Считала, что скоро выйду замуж. Так продолжалось больше года. А потом работа его закончилась, он сказал, что лучше

меня никого нет на свете, но обстоятельства заставляют его уехать обратно. Я ничего не могла понять, бесилась, плакала, умоляла взять с собой. Кончилось все за секунду — он признался, что был женат. Я попала в больницу, не хотела жить. Еле выкарабкалась. У Ирины вдруг покатались слезы: «Знаешь, я детей хочу, мне ведь уже за тридцать». Надо это раньше делать — вот ты, чего ждешь?! В музей она приехала. Подождут твои музеи. Бабе надо приличного мужа организовать, детей нарожать, а потом по музеям ходить. Почему ты этого Сашу не пригласишь сюда? Он вполне симпатичный. Я уйду. У тебя вообще никого, что ли, нет? Тут заплакала я. Со странной для меня легкостью я вдруг рассказала о своем неудачном бабьем опыте с интимными подробностями, сомнениями и неудобными вопросами, не стыдясь своей необразованности и неопытности, наверно, сработал эффект «случайного пассажира»

— Дура, — уверенно поставила она диагноз. Ты совершенно нормальная женщина, а тебе попался обыкновенный импотент-женатик, их

знаешь сколько?! Тьма! Ерунда! Ты — что надо, сексапильная... высшее образование свое спрячь подальше, увидишь, как будешь нравиться, если будешь себя вести, как женщина, а не как... «шахматыстка» — и тут мы обе весело расхохотались, шмыгая носами.

Через несколько дней мне надо было улетать домой, билет был с открытой датой, и в аэропорту сказали, что отправить меня не смогут, все забито. Я вернулась в гостиницу, поднялась к Ирине в номер — «Горе ты мое, это ж Ереван».

— Алло, аэропорт? — пропела она в трубку, — будьте добры... Сако, это ты, дорогой, у меня к тебе просьба. Моей хорошей подруге надо улететь сегодня в Свердловск. Я знаю, что все переполнено, но девочка без нас пропадет, ты должен это понять. Понимаешь? Вот и славненько. Спасибо, дорогой, выезжаем.

Кстати, ереванские музеи я помню уже довольно смутно.

## **СТАРОРОДЯЩАЯ**

Решила твердо: буду рожать. Ну и что, что одна? Сколько можно ждать Принца или просто приличного мужика? Ответьте мне, сколько?! Он говорит, что хочет разводиться в любом случае и вовсе не из-за меня (это хорошо или плохо?). Мне уже все равно. Мама за тысячи километров, она в курсе и поддерживает меня, в редакции никто ничего не замечает — знает только моя родненькая тетя Каца, замредактора Людмила Михайловна Кац. Токсикоза нет, настроение замечательное, ощущения превзошли все ожидания: я будто бы еще одна, но на самом деле всех дурю — на самом деле нас уже двое! Мы ходим вместе на работу и с работы, мы подмигиваем солнышку и всем встречным, мы болтаем друг с другом и обсуждаем — ну, конечно, я уверена, что у меня девочка — модные фасончики платьев. К ночи я нахожу минутку и всматриваюсь в зеркало — нет-нет, это не кажется, я вижу, как растет мой живот, медленнее, правда, чем хотелось бы, но растет! Ну, в общем он гораздо больше, чем был три месяца назад.

Черт меня дернул поднять ведро с водой, пол, видите ли, приспичило помыть... А может, и не в нем было дело, а в судьбе. Короче, набрала полное, достала из раковины, опустила и увидела бегущую по ноге красную струйку.

Заметалась по своей общежитской комнате — что делать?! У меня даже и прокладок нет — к чему они, если месячные исчезли... Бегом на нижний этаж — звонить тете Каце. Скорая, больница, выкидыш. Обезболивающий укол по благу замредакторства сделать могут, но тетя Каца, которая мне сейчас за маму, решает — не будем делать, врачи говорят, что потом можно не забеременеть. Поэтому святой выкидыш оборачивается греховным абортom по полной программе советской женщины — двое держат, двое почему-то хохочут, заглядывая Туда и матерятся, правда, чуть слышно. Что они там видят? Чистят и скребут, скребут и чистят. Инквизиция, пытка, гестапо, адская боль... Если бы спросили — а кто же ОН? Нет никакого сомнения, я бы сразу выдала, только бы оставили меня в покое. Меня скидывают на кровать, я вся в слезах, у меня похороны. Приходит

розовощекая пожилая медсестра, кладет мне на живот огромный пузырь со льдом и смеется: «Ты, чего плачешь-то? Подумаешь, аборт. Ты посмотри, сколько таких, как ты». В палате нас человек шесть. Веселые шумные бабы обступают меня и начинают тарыхтеть: «Да я сюда каждый год попадаю и ничего, глянь!». «А мой как уйдет в плаванье, так я здесь!» Дружный хохот. Я пытаюсь объяснить им, что это не аборт, что я хотела рожать, но меня никто не слушает: «Не расстраивайся, ты еще знаешь, сколько раз сюда попадешь...» Ой, мамочки.

Пока раны зализывала, пока переезжала с Дальнего Востока домой, пока он думал, что делать, перевалило за тридцать. Ну, теперь уж, я тебя не потеряю, моя девочка. Я не поднимаю ничего, что весит больше пятисот граммов, я хожу аккуратно и не спеша, я прошу всех обращаться со мной, как с хрустальной вазой. Я слушаюсь врачей и исполняю с безголовым фанатизмом все, что они мне говорят. В женской консультации мной занимается щуплая мышка в белом халатике, всякий раз она взвешивает меня и всякий раз она мной не до-

вольна — «Вы не должны так поправляться». Она дает мне инструкции : «Два-три дня будете есть только гречневую кашу с утра до вечера». И я, давясь гречкой, которую мы чудом достали через родственников, получающих ветеранский паек, продолжаю впихивать ее к себе в рот, переполненный... любовью к моей девочке — ради нее, ради нее... Живот после пяти месяцев и вправду стал расти слишком быстро. Худая и довольно изможденная на вид, я торчала из-за него, едва дыша. Диагноз поставили быстро — многоводье. Мышка обрадовалась: «Вот откуда вес — Вы много пьете». Она почти исключила жидкость из моего рациона, разрешила выпивать три четверти стакана в день. Для психологического равновесия я взяла наши рижские кофейные чашечки и, изнывая от жажды и сухости во рту, выпивала три за день, как велели ... Ради моей дочки.

— Я знаю точно, Вы не слушайте меня, Вы пьете, пьете! — кричала Мышка.

— Не пью я, не пью! — я еле удерживалась, чтобы не заплакать от недоверия и несправедливости. Как же она не понимает, что я готова

сделать все для моей девочки. Если нужно, я могу и вовсе не пить. И даже не есть.

Однажды ночью, когда мне удалось наконец заснуть, с трудом найдя удобное положение, я вдруг подскочила от страшного неожиданного грохота, собралась в комок и мне показалось, со страху так сильно вдавилась в стенку, что еще немного, и я оказалась бы у соседней в квартире... Стекла содрогнулись, звякнули, но не вылетели. Собственно, утром мы ничего толком, как это было принято, не узнали — «Кажется, что-то взорвалось на станции Свердловск-Сортировочный». Уже много лет спустя я прочитала, что цистерны тротила и гексогена врезались друг в друга, и десятикилометровая взрывная волна «достала» и мой живот. Девочка моя, видимо, тоже испугалась толчка — перевернулась и заняла самовольное положение ножками вниз. Врачиха решила, что с нее хватит моих проблем и задолго до родов упрятала меня в больницу, в которой мне и предназначено было рожать. На моей медицинской карточке толстым черным карандашом написали: «СТАРОРОДЯЩАЯ».

Мне здорово повезло. В этой больнице работала самая близкая подружка папиной сестры, профессор Елена Леонидовна Гриншпунт. Она повела бровью в мою сторону, и все поняли, что меня нужно лелеять. Собственно, проявлялось это в более частых улыбках, больше меня никто уже не ругал. В палате нас было четверо — горбунья, которой не разрешили рожать, а она собиралась сделать это уже вот-вот, диабетическая больная, у которой плод весил около шести килограммов, сердечница в проводах и капельницах и я — с многоводьем, ну да, старородящая. Меня называли «Наша стоячая женщина» — я не могла сидеть, не могла лежать, мне казалось, мой живот начинается прямо от подбородка. Кстати, моя девочка, набултыхавшись в вольном многоводье, вернулась в исходно-задуманную природой правильную позицию, умница моя.

В палату никого из родных не пускали — с этим в родильных отделениях было строго. Они всю жизнь сражались за чистоту и параллельно вели борьбу со стафилококком, не понятно откуда бравшимся то и дело при такой

стерильности. Мы с тоской смотрели в окно, завернутые в унылые халаты, и иногда видели своих мужей, мам, подруг, которые приносили тюремные передачи — что-нибудь вкусненькое. Они там внизу что-то пытались изобразить, отчаянно размахивая руками, но что именно, мы не могли понять. За окном бушевала зима, в этот год она была особенно лютой. Дни бежали к новому 1989 году. На количество воды, которое из меня вылилось, привели посмотреть студентов-гинекологов. Это были взрослые мальчики в белых халатах и шапочках. Они что-то записывали в своих тетрадях и, не стесняясь, рассматривали меня со всех сторон, пару раз откинув простынку... Содержимое тазика волновало их, видимо, еще больше. Зато у меня нет к ним ни малейшего интереса. Я думаю о своем — о женском. Кажется, в голове после кучи лекарств, которые в меня вкачали, сохранилась только одна мысль — поскорее бы родить. Но это не какая-нибудь там тупая, сонная мыслишка, нет, это очень даже светлая мысль, мобилизующая все твои силы. Может, это вообще главная бабья мысль, кото-

рая в этот момент концентрируется, выделяется из многих других — будничных, мусорных, неважных... Поскорее бы родить! Врачи шушукуются, потом обсуждают что-то с Еленой Леонидовной:

— Машенька, а может, кесарево сделаем?

— Нет, — отвечаю я, даже не поинтересовавшись причиной, уверенная, что должна родить сама и все тут. Прибегает еще одна врач, маленькая быстрая женщина, обнадеживающе хлопает меня по бедру: «Ну узкий таз, так что, раздвинется, такие птички-невелички, как мы, всегда рожают сами. Молодец, все будет хорошо».

Я корчусь от боли, низ живота сейчас разорвется. Ноги кто-то скручивает и отпускает, снова скручивает... Мне хочется кричать, но я искусываю в кровь губы и впиваюсь ногтями в свои ладони — я не должна, мне говорили, что можно терпеть любую боль, если контролировать себя — «Чего орать-то?». Моя девочка выскакивает довольно быстро, по пути раздирает мое тело своими пятидесятью двумя сантиметрами и тремя с половиной килограммами. Я

уже ее люблю. Обычно в роддомах принято приносить детишек мамам только на кормежку, но я попадаю в экспериментальный, отдельно взятый момент, и кроватка с дочкой стоит в моей палате, в нескольких метрах от меня среди других шести-семи. Она — я чувствую, что это она, — плачет громче других, пытаюсь встать и не могу, силы еще не вернулись: после родов и часа не прошло. Делаю над собой страшное усилие, подползаю и я...я...я не знаю, которая моя. Боже, а как же я теперь узнаю?! За спиной голос: «На ручке кусок клеенки привязан, там фамилия написана».

К утру становится очень холодно — от сорокаградусного мороза лопнули трубы, отопление отключилось. Температура в помещении начала быстро опускаться. В роддоме — паника, но вполне управляемая, никто не кричит, не возмущается — вот железные люди, в голову не приходит мысль взять такси и удрать с ребенком домой... Перепуганные звонками родственники приходят в больницу с обогревателями, но их не пускают. К вечеру околевшие

до лязга зубов, мы заворачиваем детей во все, что попадает под руку — простыни, пододеяльники, от отчаяния сдергиваем свои тяжеленные ватные матрасы и громоздим их на детские кровати сверху. Творится нечто неопишуемое. Наконец начальство принимает решение и даже утрясает его с пожарными — пропустить обогреватели в родильный дом! Детка, потерпи, сейчас будет тепло.

Десять дней меня с малышкой не выпускали из роддома, и никакая Елена Леонидовна не могла мне помочь. Врачи находили, что мы должны еще побыть под наблюдением. Страх за малышню — заболит, простынет, не дай Б-г, воспаление легких схватит.... Жуткий, сковывающий холод, нет местечка, где ты можешь отогреться до конца... Обработка швов раздражающими душу ледяными лекарственными растворами... Противная столовская еда... Отсутствие родных рядышком — прислониться бы... Однако самое сильное переживание было сосредоточено ниже пояса: почему-то именно отсутствие трусов превращало тебя в беззащитного, ранимого, униженного, маленького

человечка... Их запрет был частью программы борьбы за стерильность. Тебя раздевали догола сразу, в приемном покое, брили и выдавали рубаху с халатом, бывшим когда-то фланелевым. После родов протекающие насквозь тетки получали постиранные в общей куче и продезинфицированные в автоклаве тряпки. Неопределенного серо-буро-малинового цвета, часто довольно влажные, они отдаленно напоминали выцветшие красные поношенные полуметровые знамена. Их нужно было как-то свернуть и уложить — так-так, нет, пожалуй, поуже, поплотнее. Только как идти при этом, чтобы не потерять? Кто-то умудрялся сделать пояс из второй тряпки, кто-то придерживал эту гигантскую прокладку руками на животе и спине. Передвигались все медленно, короткими шажками, напоминая раздобревших уток...

И все равно — счастье, счастье, счастье!!! Необъятное, безграничное, осознанное, абсолютно полное женское счастье, которое понастоящему может испытать, наверно, только «старородящая». Года через полтора снова прихожу к Мышке в женскую консультацию.

— О, да Вы снова в положении?

— Да, — гордо произношу я, но это уже другая я.

Нет испуганного взгляда, нет зависимости — есть уверенность в себе и свой женский опыт. Теперь я не старородящая, а вот вам — молоденькая женщина, которая сознательно решила рожать второй раз.

— Ну то, что Вам нужно есть яйца, масло, молоко, кефир, творог, орехи, овощи, фрукты — Вы знаете, только я понятия не имею, где Вы все это возьмете, — да, время уже другое, потяжелее, придется как-то выходить из положения. — Пить Вы должны...

Я знаю, я помню... и завожу себе большую красивую кружку. Пью, сколько хочется, ем — то, что достаем в очередях. За весом слежу, но не убиваюсь — природа знает, что делает: теперь я доверяю ей.

— Что-то мне не нравится ваше сердцебие-ние, необходимо лечь перед родами в больницу, тем более что Вам, между прочим, уже тридцать три, а не восемнадцать...

Ах, ты, старая карга-перестраховщица...

— Я в больницу не пойду.

— Ну, я не могу Вас отправить туда насильно, — с сожалением говорит она, — только Вам придется подписать бумагу, что Вы отказались от больницы.

— Хоть три бумаги.

Схватки начинаются, вначале слабенькие, потом посильнее. Надо скорую вызывать, а я тяну, тяну, сколько могу... Наконец сдаюсь.

— Ты что, дома хочешь родить?! Смотри на нее, воды уже отходят — она сидит тут, чаи распивает! Самовольничают, как хотят! Безобразие! — врач скорой помощи запикивает меня в машину.

Боли еще более изощренные, чем в прошлый раз, может, потому что мальчик, не знаю — а еще обещали, что вторые роды легче... Мне кажется, что я не кричу, но я слышу свой, правда, какой-то необычно высокий — ближе к ля второй октавы — голос. Он существует, как бы совершенно отдельно от меня — нечеловечий, пронзительный, сильный крик самки. Мне не стыдно на этот раз. Я свободна! Я рожаю! К черту все запреты!

А еще вместе с мылом и зубной щеткой я пронесла в кулечке — нас никто не слышит? — несколько пар симпатичных трусов в горошек.

### **ОБЕЩАНИЕ ПОГРОМА**

— Завтра утром, — тихим заговорщическим тоном сказал Докучаев, — но где-то после девяти, когда основная толпа уже схлынет, — сядете на трамвай, потом на автобус — и к Наташке, вот ее адрес и телефон.

— Валер, а почему к Наташке-то?

— Про нас они знают, а вот про нее не догадываются. Мы со Щербаковой будем вас там ждать.

Логика не было ни в чем. Если бы ОНИ и вправду затевали погром, то откуда бы мы знали — когда именно? Разве об этом объявляют? Бабушки с дедушкой уже давно нет в живых, а так бы спросили: как это бывает? Но по городу упорно ползут слухи:

*...ОНИ собираются это сделать, уже известно, в какой день...*

Мамина приятельница, тетя Фаня, очень нервничает, не выдерживает и звонит в милицию:

— Я жена профессора Когана. В городе неспокойно — говорят, будут погромы. Вы знаете об этом? Нам нужно волноваться?

— Успокойтесь, гражданка Коган. Ситуация под контролем. Это ВАШИ раздувают слухи, вы сами знаете, с какой целью.

...Короткие гудки: «Вы посмотрите, он еще смеет бросать трубку!?»

Марику нет годика. А в моей несчастной груди, как назло, нет молока. Да и Янка тоже совсем еще крошечка. В поликлинике мне выписывают справку в молочный магазин — по ней я могу купить целый литр! Прийти нужно в семь утра, потому что если не забрать свою бутылку вовремя, молоко продадут. Магазин под боком, я несусь — только бы не опоздать. Прохожу сквозь строй бабулек — голодных, злых, завидующих, уверенных, что я где-то достала справку, и продолжающих надеяться, что все же кто-то из «блатных» сегодня не придет. Обратно я прохожу через этот же остроглазый, пронизывающий меня насквозь строй,

мне жалко бабушек, но уже не очень, радость победы затмевает сердобольность — я несу добычу своим детям.

— Какое счастье, — произносит довольная мама.

— Молоко — тясте! — повторяет Яночка и обнимает бутылку.

Не расслабляться! Я одеваю Янку, и мы идем в булочную. О, там уже очередь на улице. Кто последний? Стоим. Я пытаюсь развлечь мою малышню, но получается плохо — далеко отходить нельзя, потом обратно не впустят: «Вы здесь не стояли». Но она молодец, не капризничает. Наконец, преодолев полуторачасовой барьер очереди, зашли в магазин — теперь уже все пойдет быстрее и легче. Ага, вот и вожде- ленная продавщица.

— Мне, пожалуйста, два батона.

Вдруг на меня обрушивается нечто тяжелое, ощущение именно такое.

— А почему вы ей два батона даете? Безобра- зие! — гремит Нечто.

— Правильно! — подхватывает очередь.

Я, как всегда, теряюсь от громкого голоса, но отвечаю, как мне кажется, вполне достойно:

— Потому что вот эта маленькая девочка стояла в очереди так же, как и вы.

Все взгляды устремлены на продавщицу. Она — Судья, как скажет, так и будет. Ей трудно, минуто она колеблется, но выбирает Янку — замотанную в шарф, с розовыми от мороза щеками — и протягивает ей нашу авоську с лично заслуженным батоном: «Кушай, деточка». Очередь урчит, но накал уже не тот.

Подъезд у нас малюсенький — восемь квартир. Под нами живет очень симпатичная женщина Ира, учительница музыки. Муж ее, иногда спутав этаж, звонит к нам — я открываю, он падает, просто чудом не на меня, я пугаюсь — «Ну, что Вы падаете-то?!» — так было уже несколько раз.

— Машенька, извините, ради Б-га, он опять выпил, — прибегает Ирочка наутро.

В квартиру напротив часто по ночам ломаются — те не открывают, тогда эти начинают действовать, процесс затягивается, наша собака уже сипит от бесконечного лая, мама кладет

топор поближе к выходу, я — телефон поближе к себе, муж: «Не бойся, они к нам не пойдут». Вскоре эти выбивают более слабую часть двери и пролезают к тем в квартиру. Визг, крики, грохот... Тишина. Видимо, договорились. На следующий день, где-то после обеда мужик начинает заделывать дыру. Ближе к полуночи все начнется сначала. А слухи продолжают ползти.

*...ОНИ могут сделать это и днем, у них есть списки...*

ИХ образ размыт. Кто они? Кто придет нас бить (или убивать?!) Общество «Память», которое выступает с антисемитскими лозунгами? Казаки, которые разгуливают последнее время по улицам в папахах и с шашками наперевес? Голодные бабульки из очереди? Или те из квартиры напротив?

Испугаться по-настоящему сложно. Ничего нового не происходит, ничто не предвещает беду, никто не стреляет. Город живет своей обычной жизнью. Однако есть другой вид страха — тот, который называют генетическим, он живет где-то в подкорке или внизу живота, он заставляет поверить в опасность и

ощутить ее реальность, какой бы нелепой она ни была.

*...ОНИ есть, и ОНИ могут прийти в любой момент...*

Утром мы начинаем собираться. Что берут с собой в таких случаях? Откуда ж мне знать?! Сухое молоко для детей, лекарство... да, документы, наверно, какую-то одежду... Муж-охотник и рыболов молча выкидывает из коляски все содержимое, укладывает свое ружье и кучу патронов. Так, наверно, выглядит тревога — патронташ под детским матрасиком.

Мы выходим в назначенное Докучаевым время и продвигаемся к остановке — с детьми, мамой и собакой. Лица серьезные и сосредоточенные. Вот и наш трамвай — быстро подошел. Я беру малыша на руки, муж пытается затащить коляску в трамвай, она не проходит, он резко наклоняет ее и... Конспирация в апогее — патроны выскальзывают из своих ячеек, ружье с бряцанием летит вниз. Трамвай замирает.

Я молча собираю патроны и снова заталкиваю их под матрац на виду у абсолютно ничего не понимающих пассажиров — у них нет ника-

кой реакции. Вечером верный Докучаев идет в разведку. Возвращается довольно быстро: «В городе все спокойно. Погром отменяется».

### **КАХА БА АРЕЦ**

— Как же это, Мария Григорьевна, — Вы оставляете нас в трудную минуту?

— Скажите, а чем я могу Вам помочь?

— Не надо передергивать, Мария Григорьевна, Вы страну бросаете в тяжелый момент, только недавно генсек поменялся.

— О, спасибо, Вы высоко меня цените.

— Не нужно иронизировать, имейте в виду, один наш преподаватель уехал в ваш Израиль и теперь метет улицы.

Может, таких стран и немало, но я хорошо знаю две, из которых нельзя уехать в нормальном, житейском, географическом, легком смысле этого слова, ну, как едут из Франции в Англию, а из Англии, скажем, в Новую Зеландию.

Возвращаются, снова уезжают, не возвращаются... Россию и Израиль можно только покинуть — оставить, бросить, предать... К счастью, мы не пережили российских инфарктов от партийных и профсоюзных собраний, испуга в глазах друзей, опечатанных квартир — время было совсем другим. Только все равно переезд всегда оборачивался тяжелым разводом: ты должен был представить «судьям» обоснование — почему ты уезжаешь и почему тебе так плохо в данном конкретном месте? Ну, а если ты едешь, потому что тебе хочется сменить природу, работу, обстановку, климат, попробовать еще что-то в жизни, да просто так дернуть куда-то, пока движешься? Ну, тогда вовсе не ясно... Если ты уезжаешь, ты обязан не любить, а еще лучше ненавидеть это место. Конечно, родная душа постарается тебя понять и поймет, и пожелает тебе доброго — для нее ты остаешься своим навсегда, где бы ни жил: разве ты стал хуже от того, что переехал? Только вот и мы сами в разной степени не можем «оторваться» от этих двух стран, хотя часто

говорим друг другу — хватит нервничать, мы уже не там. Но Там живут наши друзья и родные, там житы-пережиты более молодые годы, там остались могилы... Мама смотрит русское телевидение и не пропускает их новости, мы дергаем Интернет и каждый день изучаем израильскую сводку. Мы переживаем «за наших» мирно расположившись в тихой, неполитизированной, пасторальной стране Канаде, где самая главная новость с утра — какая будет сегодня погода. Нет, это не ностальгия — я не хочу обратно и не хочу отсюда.

Есть такая тонкая психологическая штука, в которой и сознаваться-то не очень хочется... Если там, откуда ты уехал, — становится лучше, а твоим друзьям легче, ты в своих глазах — обелен, ты хороший, ты ничего не сделал дурного и никого «не бросал в трудную минуту», ты не предатель и не трус... Если там подули другие ветры, тебе становится неуютно и пакостно на душе, ты ощущаешь себя отщепенцем, навешиваешь на себя чувство вины, и оно камнем висит на тебе, пока там снова не просветлеет. ...В Израиле начинается война, на этот

раз бомбы достигают городов, где живут дорогие сердцу люди. Мы ежедневно звоним туда, если трубку не берут, волнуемся еще больше — наверно, ушли в бомбоубежище. Всем говорим — давайте к нам, если что, у вас есть дом в тылу. Одни отвечают — спасибо, друг, мы это знаем. Другие — ты что, с ума сошла, невозможно туда-сюда летать, третьи — с нескрываемым раздражением: нет, мы уж тут как-нибудь без вас справимся... Ну как, получила?! В одном клубке боль за близких, за страну, как это ни пафосно звучит, — и нормальная радость от того, что ты вовремя увез своих детей от опасности. Клубок этот пожизненный, наверно, это плата за бесконечные передвижения по миру и отсутствие глубоких корней.

*Февраль, 1992 год, Израиль*

Дорогие мои девочки! Впечатлений столько, что я не знаю, с чего начать. Все время вспоминаю, как вы стоите на нашем свердловском вокзале, а мы сидим уже в поезде, за вагонным окошком, и ничего не слышно. Вдруг поезд вздрогнул, кажется, чуть раньше времени, и грянула музыка — духовой оркестр играл



«Прощание славянки», что-то не припомню, чтобы так раньше было (уж не Докучаев ли договорился?). Яночка всю замахала вам ручкой, а Марусик открыл глаза и снова закрыл — так и не заметит, как его в другую страну перевезут. Доехали мы хорошо, остановились у Марининого папы на несколько дней. Наверно, мы плоховато выглядим — какие-то уставшие, худые, синие, плохо одетые. Таня, его жена, осторожно спросила: «Маша, а вы вот в этом во всем и поедете за границу?». Я рассказала ей, что мы получили деньги за

проданную квартиру и купили всем новую одежду на рынке, так что переоденемся. Пошла в кооперативный магазин возле их дома потратить последние советские деньги, все равно их провозить нельзя. Все стоит ужасно дорого, посмотрела — висят шторы для кухни турецкие, симпатичные — говорю, покажите, пожалуйста. Продавщица оглядела меня с ног до головы, не знаю, что уж она такого страшного увидела — я была в натуральном, правда, очень старом тулупчике, да вы ж знаете его, вязаной шапочке с шишкой и довольно потертых сапогах — и сказала с презрением: «Чего я показывать буду, Вам все равно это не купить». Я достала из своей авоськи с картошкой кошелек и, гордо пошелестев купюрами, ответила: «Ну, а почему бы мне не купить?!». Стоимость занавесок была запредельной, и мой образ с их покупкой никак у нее не ассоциировался, поэтому продавщица так и осталась с открытым ртом: «Странное время...».

Мы почистили перышки, переоделись и поехали в Шереметьево. Там тоже пережили пару неприятных минут — ну, во-первых, с нами

разговаривали, мягко говоря, неприветливо, а во-вторых, ни за что не пропустили с собой банку сухого молока. Я умоляла отдать мне эту несчастную банку, потому что до самолета была еще вечность — ребенку всего восемь месяцев, а своего молока у меня нет. Но никто нас не пожалел, сказали — не устраивайте тут истерик, едите спокойно в свой Израиль, не положено и все. Маричек оказался умницей, ни разу не проснулся, назло врагам. В самолете нам улыбались стюардессы, они говорили на иврите, и я даже сказала в ответ: «Тода раба». Марик продолжал спать, а Яночку всю дорогу развлекали — ей принесли кучу красивых игрушек, карандашей, шоколадок и не стали забирать назад. Потом ей принесли молочную манную кашу, и я заплакала — одни отобрали детское молоко, другие кашку сварили... В аэропорту нас с Мариком поместили в детскую комнату. Чего там только не было — кровать, столик для пеленания, игрушки. Ему тоже принесли питание в бутылочке и показали на тумбочку — вот здесь «титулим». А я понятия не имею, как с ними обращаться. Анька писала

мне об этом чуде — бумажных подгузниках, но я же сама никогда в жизни их не видела. Вертела, вертела — они вроде красивых бумажных трусиков на липучках. К счастью, пришла женщина, говорящая по-русски, и все мне показала.

Потом нашу семью вызвали в кабинет, оформили документы, попросили подождать такси в зале аэропорта. Тут наш Маричек «накурился»! Я отошла, он сидел у мамы на руках, возвращаюсь — а моя «микробиологическая» мама в ужасе трясет ребенка и кричит — выплюнь, выплюнь! Маричек залез в пепельницу, расположенную в подлокотнике кресла, и успел набить полный рот табаком, что ему кашка — новая жизнь начинается!

Когда мы вышли из аэропорта, февральское солнце по-летнему жарило, запах тоже оказался необыкновенным — пьянящим, сладковатым, будто настоящим на апельсиновых корочках, пальмы курортно свесили свои листья — после нашей зимы это слишком хорошо. Симпатичный пожилой израильтянин поймал мой взгляд — «Каха ба арец!» (Вот так в Израиле!).

**Мы** снимаем квартиру в Холоне — городе, который называют спальней Тель-Авива. Хозе (договор на квартиру) на год, потом нужно что-то искать, поскольку хозяин хочет продавать ее. Хозяин — молодой мальчик лет двадцати пяти, иранский еврей, волосатый и красивый, женатый на русско-еврейской блондинке из Беларуси — относится к нам неплохо и не собирается выгонять, пока мы не решим, что дальше делать. Наши друзья-первопроходцы Аня с Илюшей покупают квартиру в Ашдод — там дешевле. Может, и нам — за ними? Кто говорит — покупать квартиру рано, надо вначале устроиться на работу. Кто считает — постоянной работы в Израиле не бывает — зачем же ждать? Кто надеется — может, условия станут для олим (тех, кто приехал в страну) более льготными...

Я еду в Ашдод одна — муж на работе. Аня меня напутствует — дома с гипсовыми стенами даже не смотри, они ненадежные и холодные. Хорошо, не буду. Захожу в бюро по продаже квартир под названием «Соломон», мне уже рассказали: стены домов, которые строит эта компания, — каменные.

— Гверет, кама шаним ат ба арец (госпожа, сколько лет ты в стране)?

— Полгода.

— А деньги у тебя есть?

— 4 тысячи шекелей.

— Хаим, денег у нее нет.

— А еще четыре можешь найти?

— В сентябре мама получит Сохнутовскую ссуду.

— А расписку можешь дать, что внесешь их?

— Пожалуйста.

— Остальное выплатишь за 28 лет.

Маклер везет меня на своей машине, тарыхтит без умолку на иврите, я, хотя и закончила ульпан, далеко не все понимаю, едем, видимо, по центральному проспекту города. Он мне кажется веселеньким — магазинчики, кафе, пальмы, уличные фонари покрашены ярко-красной краской, потом справа появляется море, такое близкое, рукой достать, не то, что в Холоне, корабли вдалеке — южная красота, будто в санаторий едешь. Через несколько минут пейзаж изменился — ни кустика, ни цветочка, ни домика — сплошные пески, пески, пески... Посреди пустыни — стройка. «Вот здесь твой дом».

Я немножко вздрагиваю. Вот здесь?! Мы лезем на второй этаж по недоделанным ступенькам, каменные полы тоже еще не уложены, под ногами — песок, песок, песок... Квартира, похоже, ничего. С умным видом знатока стучу по толстым негипсовым стенам. «Гверет, не сомневайся, гвоздь не забьешь». Это было то незатейливое и, наверно, неплохое время, когда в Израиле можно было купить квартиру без денег, без языка и без какого-либо местного опыта...

Из нашего салона и спален вид открывается на пустыню. Мама любит смотреть в окно — «Как же красиво, какое бескрайнее пространство...» У меня совсем другие ассоциации — сушь, жара, горячий ветер, колючки...

В одночасье начинается строительство. Большие белокаменные девятиэтажки быстро вырастают вокруг, наступая на пустыню пока только с одного бока — уже полегче. На строительные работы привозят арабов из Газы. Вечером их возвращают домой. Однажды прошел слух — двоих не могут поймать. Мы привыкли — можно ждать беды. Детей не отпускаем

одних гулять, проверяем, хорошо ли закрыта входная дверь.

Через окно наблюдаем, как приезжают одна за другой военные машины — из них выскакивают солдаты и прочесывают недостроенные дома, мамину любимую пустыню. Вначале выволакивают одного араба, он сидит в песке уже с завязанными руками, его бьют, потом находят и под дулом автомата приводят второго, бросают в песок и пинают ботинками. Он корчится, его продолжают бить. Оказывается, читать в газетах про такое легче. Видеть тяжело и страшно. Наутро двор делится на две половины: одна возмущается жестокости солдат, другая защищает их и приговаривает: «Так им и надо, проклятым, убить мало». Есть соблюдающие нейтралитет: «Их нужно было мирно выслать обратно в Газу и никогда не пускать на работу».

— Что значит, мирно? А если бы их не нашли и они совершили бы теракт, тогда б вы что сказали?!

— Бэсэдер (ладно), а если бы это Ваш внук бил человека?!

Соседи были взбудоражены гораздо сильнее, чем в моменты, когда лопалась труба или протекала крыша... Маленький срез израильской жизни.

Ничего не могу понять — что это?! Расчесываю Янку и вижу почти на каждом волоске какую-то светлую загогулину, разбираю прядь за прядью — та же картина, тащу ее к окошку, к яркому свету, может быть, у меня что-то с глазами? Кажется, что-то шевелится. Нет, этого не может быть... Ребенок не ходит даже в садик, сидит дома с бабушкой. Я бегу к зеркалу и начинаю дергать свои волосы... господи, у меня тоже...

— Мама, — кричу я, — иди скорее сюда, ты говорила, видела вшей во время войны, как они выглядят?

— Хм, видела, я их не только видела, — сказала мама со знанием дела и опытом пятидесятилетней давности.

Диагноз поставлен. Я в ужасе бегаю по квартире: наливаю воду, хватаю мыло, ножницы, что еще нужно? Бегу к соседке.

— Не надо так нервничать, — сходи в аптеку, купи специальный шампунь, потом возьми густой гребешок, хорошенько расчеши волосы, к утру ничего не будет. Все так делают.

— Все?! А что, теперь это постоянно будет?

— Ну, шампунь дома, конечно, держать надо, но чаще всего *они* почему-то нападают на недавно приехавших.

Двенадцать лет я хранила в ванной шампунь с нарисованной на бутылочке ползучей гадо­стью. Дети ходили в садики, школы, кружки, во двор, но он так ни разу больше и не пригодился, видимо, *они* действительно охотятся за новенькими.

**Мы** не так давно живем в Ашдоде. Мои малыши очень любят заходить в «Лев Ашдод» — большой для нашего города каньон — торговый центр, состоящий из малюсеньких лавочек, крупных магазинов и кафе — там прохладно, там мороженое. Вдруг громко заиграла музыка, веселая и разухабистая, какая бывает у хасидов. Мы смотрим вниз: люди один за другим бросаются в пляс прямо с покупками в ру-

ках — с пакетами, сумками, а вон мужик с какой-то коробкой танцует. Мне, приехавшей из угрюмого времени другой страны, так странно и удивительно видеть эти магазинные пляски. Я думаю о том, что вряд ли бы так смогла, с полуоборота, и, наверно, вряд ли когда-нибудь смогу. Я вспоминаю о том, что день назад в Иерусалиме взорвали автобус, погибло много людей, и совсем нерадостно на душе. И еще я понимаю, что в этой стране по-другому жить нельзя.

**К** нам домой залетел первый в нашей жизни обыкновенный израильский летающий таракан, сантиметров шесть, не меньше.

— Мама, мама, — закричала Яна, — кто-то большой пилетел в ванную.

— Яночка, ну, кто может к нам залететь?

— Иди и посмотри

Я нехотя плетусь в ванную и с криком вылезаю оттуда — такого зверя я еще не видела: огромный, блестящий, усы шевелятся — жуть какая-то, сидит на полу и в этот самый ус не дует... Я собираю в кучку весь свой героизм,

должна же я защитить ребенка, беру эмалированный таз и с размаху опускаю его на вероломного противника. Уши закладывает от удара железа о каменный пол. Я, чувствуя себя победителем, поднимаю таз и... о, ужас, страшилище шевелит усами пуще прежнего и, кажется, готовится к новому полету. Я быстро закрыла ванную на защелку, признавшись в капитуляции.

— Мама, мама, — кричу теперь я, — иди сюда, там такое прилетело, может, ты с ним справишься?

Решили: обрежем мальчика, иначе, как нам объяснили, он не будет чувствовать себя своим, в школе дразнить будут. Наверно, они правы, но понять мне это так сложно. Я — еврейка во всех просматриваемых поколениях — ничего не чувствую по отношению к этому обряду. Знакомые говорят — ты пойми, ну, это ритуал такой, вспомни, как там вступали в октябрята, тоже ведь нельзя было отказаться. Какие-то глупости. По обычаю делают Брит-милу торжественно, на седьмой день от рождения в

присутствии раввина, но сейчас все поставлено на поток — в очереди на обрезание стоят седовласые мужчины, юноши, малыши из тех, кто приехал из России. Марику уже три года. Сидим долго, ждем своего часа. И вот наконец выходит замотанная, уставшая от многочасового операционного конвейера медсестра и вызывает нас. Я несу сына на руках, он тоже устал от ожидания, прилег на мое плечо, светлые кудряшки разлетелись в разные стороны. Медсестра срывает с себя маску, скидывает шапочку, тяжело вздыхает и произносит фразу, от которой очередь замирает: «Это у вас мальчик или девочка?». Я тихонько ее спрашиваю: «А что, Вы девочек тоже?».

**М**оя работа в Фонде режиссера Спилберга связана... с ногами. Прежде чем мы приедем с оператором, на съемку, мне нужно встретиться с моим будущим «героем», познакомиться с ним, настроить на интервью. Я езжу с юга на север страны на автобусах, с несколькими пересадками, потом подолгу ищу нужный адрес. Во многих местах, особенно в старых районах

невозможно уловить никакой логики — забудьте про четные и нечетные номера — вы можете увидеть дом номер девятнадцать, а за ним вдруг четырнадцать, но если к этому прибавить буквы алеф, бэт... или алеф/1, то ваши шансы найти адресата равны нулю. Обычно поиски сопровождаются жарой, иногда с хамсинами — поздней весной, летом и осенью. И дождем — зимой. Хотя в целом я люблю командировки, новые города, преодоления «ради нескольких строчек в газете». Еще бы босоножки пожизненно не натирали...

На этот раз я в своем Ашдоде, в недавно появившемся районе-новостройке. Кручусь уже целый час на одном пяточке. Наконец кто-то подсказывает: «Ты не смотри, что дом должен быть здесь, перейди на ту сторону пустыря». Придется попробовать. Полдень. Солнце в зените. Похоже, температура за сорок. Вода в бутылке, которую мы все таскаем с собой в сумочке — «Пить надо много и часто» — давно выпита. Соломенная шляпа прилипла ко лбу. Жарит так, что, кажется, останавливается дыхание. Я редко потею — я меняю цвет, ста-

новлюсь красной, как помидор (Янка говорит «Помидор в натуре»). Пошла. Ноги проваливаются в горячий, обжигающий песок. Что-то я уже не могу, в висках стучит, у меня нет сил посмотреть, где конец этой пустыни. Ну же, наверно, еще немного. А если дом окажется не там?! Дверь открывает миловидная старушка, сразу бежит на кухню за водой, как это водится во всех израильских домах, и спрашивает: «Вам плохо?». Я стараюсь незаметно утереть свои подлые слезы — «Подумайте-ка, ей жарко, ах, какое нежное создание» — и заставить себя соображать сквозь сильную, стучащую в виски, головную боль.

Когда я иду обратно, пустырь уже не кажется мне таким бескрайним. Новый запас воды плюхается в сумке. Да и вообще после рассказа о гетто мне стыдно за свои слабости.

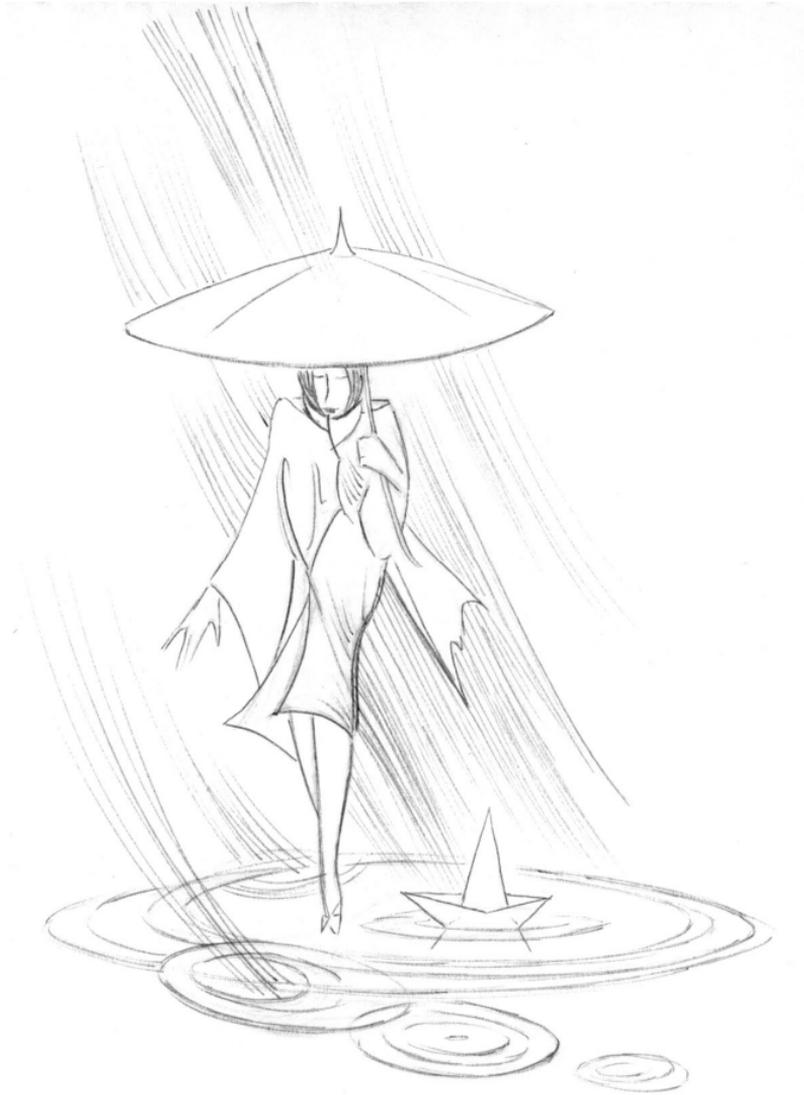
**Мама** говорит, что в России она за всю жизнь не встретила ни одной Сары. Даже те, кому родители по неосторожности дали такое имя, давно поменяли его на какую-нибудь Серафиму или Зорю. Моя же мама, совершенно не обладая

бойцовскими качествами, ни за что не хотела его менять, даже «для работы» и напротив, гордо «пронесла» свое имя через всю жизнь, да еще с двумя ошибочными «рр» в паспорте, как по заказу — прямо готовенькое для анекдотов, которые гуляли в народе.

— Представляешь, наша соседка увидела меня на детской площадке, на Мифрац Шломо, и как закричит через весь двор: «Са-а-ра!!!». Никогда не слышала, чтобы мое имя так громко произносили на улице — голос всегда приглушали и озирались... Наверно, мы домой приехали...

## ***РАЗВОД***

Холод пронизывает все тело, хотя мы живем в жаркой стране, и сейчас жаркий сезон, даже его разгар. Может, это потому, что тело привыкло за десять лет к живому теплу. Оно, это тепло, было все время рядом, вот здесь, а теперь протягиваешь руку — и там никого нет.



Мысли? Мыслей нет. Одна боль. Боль и холод. Воспоминания? Воспоминаний нет. Они стерлись. Все. Одно за другим. Ничего не помню — что делал, о чем говорил, как любил. Соображения? Соображений нет. Мне говорят — сходи к адвокату. Иду. Скажи, что хочешь оставить квартиру себе и детям — говорю. Поступки? Поступков нет. Иду на работу, на автопилоте беру интервью у тех, кто прошел гетто и концлагеря, плачу прямо во время съемок. Не профессионально.

— Мама, немедленно перестань плакать, на свете столько хороших мужчин! — Глаза быстро просыхают, как от шоковой терапии, Яночке девять лет. — А ты откуда знаешь? — Я вижу.

— Мама, — это уже младший, Марик, ему шесть, — иди поищи скорее нового папу. — Хорошо, сынок, только где? — На детской площадке — там их много.

— Мама, давай еще посидим, — сын тащит меня к компьютеру, к сайту знакомств, а уже первый час ночи, — смотри, этот какой-то шментуза (толстяк на иврите). А вот этот —

ничего... Мам, а Боря с Вадиком не могут стать нашим папой?

Никто не может представить, как он будет себя вести, если его выбросят из жизни — вдруг, неожиданно, непредсказуемо, легко. Как меняют старые тапочки. Никто не может объяснить, почему это случилось именно с ним... Никто не может предположить, что будет потом... Если бы хотя бы намекнули, а лучше бы определенно пообещали: будет Счастье, будет...

Яночке — восемнадцать... Уже который год — рядом с ней итальянский мальчик. Наверно, хороший по характеру, добрый и мягкий, однако вялый, флегматичный, без всяких желаний, пожалуй, совсем не опора... Она понимает это, но что поделаешь — влюбилась. И студентка-красотка, точеная фигурка, будущий психолог, выдает доставшееся в наследство, настоящее на моих слезах, по-бабьи мудрое: «Мам, этот не бросит никогда...»

## ***Я БЫЛА В ГЕТТО, Я ТАМ ТОЧНО БЫЛА***

Я была в гетто. Я там точно была. Вначале мне было плохо, я кричала, плакала — терялась, голодала, оставалась совсем одна, за мной гнались — я убегала, мне было страшно. Но потом я всему научилась, я приспособилась. Я знала, как добывать огонь, если нет спичек, как приготовить оладьи из картофельных очистков, если нет ни капли масла, и как бороться со вшами, если нет даже мыла... Да, это только вначале мне было плохо, я оставалась совсем одна, за мной гнались — я убегала, мне было страшно...

Я не могла освободиться от этих интервью. Я прокручивала их снова и снова. Я с ними засыпала и вставала. Примеряла на себя. Мучилась. Не могла успокоиться. Но что-то мешало мне порвать с этой нервнобольной работой. Один бывший узник концлагеря, с которым я поделилась, сказал довольно пафосно, но строго:

«Ты не можешь уйти. Посмотри на меня, какой я старый. Я скоро ничего уже не смогу

вспомнить. Если я не расскажу, а ты не запишешь, то уже никто и никогда это не сделает, понимаешь? Кто сфотографирует этот номер на руке? Твой Стивен Спилберг просто умница, что задумал этот проект... Ты только представь, 50 тысяч человек в мире расскажут об Этом!»

Четырехчасовой разговор был очень тяжелым для него, и мне стало стыдно, что мы поменялись ролями. Он многое для меня сделал в этот момент жизни, растянувшийся на четыре года. Интервью обрели некий священный смысл. Комок в горле рассосался, жуткие сны прекратились, «мой» Спилберг, в израильском офисе которого я работала, стал не абстрактным учредителем Фонда исторических документов «Пережившие Катастрофу», не красивым образом, не заморским режиссером, а кем-то вроде далекого коллеги — мы все по крохам, но в заданном им быстром темпе восстанавливали невеселую страницу истории своего народа. Для большинства стариков день интервью был особенным. Целый букет переживаний. Сам факт приезда съемочного дуэта — интервьюе-

ра и оператора — производил впечатление на всех домашних и даже на соседей по площадке: «Вы знаете (гордо), это ко мне приехали прямо от Спилберга». Комната в проводах, прожекторах, окно закрыто наглухо, дабы избежать шума, костюм, который достают из шкафа раз в сто лет, — отглажен, все в волнении... Но это так, внешняя сторона.

Говорят, после войны этим людям ничего не хотелось рассказывать. И никому не хотелось слушать (представляю, какие тогда можно было собрать материалы). Это с фронта приходили герои — грудь в орденах, победный взгляд, храбрые слова, бесконечные выступления в школе... А оттуда, «из Катастрофы», возвращались часто затравленные, испуганные люди, чудом уцелевшие. В первые послевоенные годы в бывшем Союзе их мучили вопросом-пыткой: почему они остались живы, если все погибли?! Со временем выработалась привычка — молчать, ничего не говорить на эту тему — забудем, ничего не было, просто шла война, а на ней всякое случается... Сны, правда, никто не мог отменить — расстрел мамы на глазах,

шевелившиеся по несколько дней ямы, спаленный дом, соседка, хватающая мамино пальто: «Ну, чего смотришь, ей-то уже не надо»... Постепенно боль, нет, не исчезла, она притупилась. Да и жизнь взяла свое: все они в большинстве своем нарожали детей, отогрелись в семьях... В некоторых — память чтители, вспоминали погибших. Дети и даже внуки знали, что их родные там были, правда, без подробностей и деталей — к чему они им? У многих — «Дед, я тебя прошу, только не начинай, не надо, я не хочу слушать про твое гетто, у меня и так забот выше крыши сегодня». Фонд Спилберга дал людям возможность говорить — долго, много, подробно — именно тогда, когда они этого захотели сами. Они получили в руки микрофон и внимательного слушателя-помощника, но фактически были наедине со своими мыслями, памятью, совестью.

«Я накинулся на него и отобрал у него этот воюющий кусок хлеба». «Я не смог, но я видел — они Его ели!». «Вначале я оставил кусочек украинской мамалыги для брата, но по дороге не

удержался и съел».

Признаться, что это сделал ты... Перед камерой?! Но ты не можешь ни оправдать себя, ни осудить. Там было Запределье. Там ты не был собой. В экстремальных ситуациях — в голоде, холоде и страхе трудно, наверно, невозможно остаться человеком. Настоящий голод меняет все — и характер, и мораль, парализует разум и делает нечувствительным сердце. А действительно ли ты хочешь этой Исповеди? Хочешь ли говорить даже через пятьдесят лет о самом страшном отрезке своей жизни? А я? Хочу ли я слушать это, каждый раз примеряя ситуацию на себя и своих родных!? Я продолжаю брать интервью, много интервью (их будет больше 400), день за днем...И страшная, уродливая, иезуитская мысль не дает покоя: никто из нас точно не знает, как себя поведет, пока не переживет Это сам. Что за бред я пишу?! Нет, никогда, не дай Б-г.

Он был ребенком, когда всем евреям велели явиться на площадь. Бабушка-украинка со стороны отца тут же забрала внуков к себе. Тоже,

между прочим, рисковала жизнью. Соседи-украинцы спрятали соседку-еврейку у себя за шкафом, она прожила там несколько лет(!). А его папа собрал маме узелок с едой и сказал: «Ну, пошли, раз велели». Я смотрю на рыдающего старика, который не простил до сих пор своего родного отца — «Вы понимаете, он ее сдал своими руками!» — и, естественно, думаю о своем, только что бросившем меня муже — а он бы сдал? Вот дура: нельзя даже в мыслях задавать себе такие вопросы. Но мне плохо, я травлю себя и задаю... Я — законченная интернационалистка, уверенная, что дело тут вообще не в национальностях, «выворачиваю» себе руки и спрашиваю: «Как Вы относитесь к смешанным бракам?». Он вскакивает с места, почти кричит: «Плохо!!!». Интервью закончено, мы оба — выжатые лимоны. Его жена заворачивает мне «пирожки на дорожку», хотя сколько той дорожки может быть в Израиле? — все близко.

Почти все и всегда хотят меня угостить, накормить, завернуть с собой... по нашему русско-еврейскому обычаю. Они берут мой до-

машный номер телефона, и многие действительно звонят. Я тоже. Вначале я делаю это с удовольствием — у нас одинаковые чувства: мы породнились. Но потом я понимаю, что физически не могу сделать двадцать, тридцать, пятьдесят... триста звонков, даже по праздникам. Я стараюсь что-то придумывать и снова мучаюсь, потому что чувствую — многие мои старики на меня обижаются. Я понимаю, что я — их «важное событие», я та, с которой поделились сокровенным, я та, которая наконец-то выслушала Все, о чем часто молчали десятилетиями, я та, перед которой вывернули душу наизнанку с болью, криками и стонами... Я та, которая посочувствовала в кои веки... Я все теперь знаю: про их жизнь и про самое ужасное в ней тоже. И что, вот так ушла — и до свидания?! Помню, помню, все помню. Горе, слезы, слова, лица, истории, романы... Они в сорок лет снова учили меня просто любить и ценить Жизнь во всех ее проявлениях, беречь ближнего своего, радоваться тому, что есть у тебя сейчас, сегодня... И добывать огонь, если нет спичек.

## **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ**

Это я гораздо позже поняла: они льстили моему женскому самолюбию, они бальзамом капали на мои боевые ранения, они поднимали меня до уровня привлекательной бабы-ягодки-опять с самого низа, на который способна уронить себя брошенная тетка. Жалуюсь об этом подружкам, я явно не осознавала, насколько они своевременны и необходимы, как примочка, как заживляющая мазь, как проблеск надежды.

— Ну что, опять приходил?

— Конечно, куда ж он денется...

— Что на этот раз рассказывал?

— Про свое детство

— Высокие отношения...

В книжном магазине, где я работала, очередей не бывало, и они, чередуясь, как-то равномерно распределялись в моем временном пространстве — один приходил, другой уходил... Поначалу я злилась: ну что они ко мне пристают, что им всем нужно от меня?! Они, наверно, тоже — чего она там строит из себя, одинокая баба....

Но постепенно мы друг к другу привыкли: я знала, у кого какие дома проблемы, что на работе, какие(!) должности люди занимали в прошлой жизни и чем жили нынче... Одна подружка сказала — у тебя ж на лбу табло загорается: «Рассказывайте!», а другая — нет, у нее написано «Исповедуйтесь!».

Душераздирающие истории переездов из страны в страну, семейных разладов, неустроенности, потери статуса надежно поселялись в моей профессионально устроенной башке — закон Ома не помню, а вот интервью, которое дали десять-пятнадцать лет назад — в подробностях: «оно мне надо»? Трудно сказать, почему они со мной делились сокровенным, или просто новостями, или тем, что так волновало их в этот момент — может, некому было больше рассказывать, а может, нашли свежее ухо, а может, чувствовали искренность процесса — оно ведь и вправду так: если ты много знаешь о человеке, значит, он ведь уже и не совсем чужой... Некоторые к справедливому неудовольствию хозяина книжного, продолжали ходить годами, редко покупая книжки, но я не могла

их прогнать...

Среди них был мужчина примерно моего возраста, симпатичность которого заключалась для меня в том, что он был увлечен, нет, помешан на фотографии. Я прослушала лекции о композиции и цвете, видах фотокамер и их возможностях. Я знала обо всех новинках, просмотрела море фотографий, где были изображены его дети и жена сквозь призму одного фильтра, а потом другого, более дорогостоящего... Мне казалось, что эта болезнь была связана у него с хорошими изменениями — ему хотелось запечатлеть каждый шаг своей новой счастливой жизни... Давным-давно я утратила бдительность по отношению к таким постоянным посетителям, это даже не могло прийти мне в голову — проявить ее, ведь они были своими, приросшими за несколько лет ко мне и к магазину.

Зрение мое вовсе не орлиное — с детства на носу ненавистные и поэтому часто срываемые очки для дали. Но слухом Бог не обидел — должна же быть какая-то справедливость! И

вот приходит однажды «мой фотограф» с очередным потрясающим рассказом об очередном потрясающем фотоаппарате, я с открытым ртом слушаю его, и вдруг удивленное ухо мое улавливает едва различимый звук, который производит его рука за спиной. Ха, я знаю этот звук! — так постукивает пластмассовая коробочка от диска, задевая другую коробочку. Я ничего не понимаю, вернее, не хочу понимать, потому что этого не может быть, и потому молчу как рыба. Я прощаюсь, как всегда, и, когда он выходит из магазина, резко вскакиваю из-за стола. По другую его сторону, там, где обычно выложены новые диски, зияют два пустых квадрата...

Да, конечно, диски украли не в первый раз, и книжки уводили, но неужели это смог сделать он? Он?! Знакомый, нормальный, вполне интеллигентный и обеспеченный человек! Первым порывом было позвонить ему и сказать, что я об этом думаю... Но что же я об этом думаю? Сказать ему, мужику на пятом десятке, о том, что красть пакостно? Наив какой-то. Мне стало грустно. Он, естественно, не появлялся,

и я надеялась, что не появится никогда. Но недели через три он пришел в магазин как ни в чем не бывало: «Маш, привет!». У меня, дурехи, сердце заколотилось, это ж надо! Рядом были мои дети — забежали ко мне за час до закрытия магазина. Он спросил: «Ну как твои дела, что-то ты какая-то грустная?»

— Знаешь, на работе неприятности.

— Что случилось? — заволновался он.

— У нас в магазине участились кражи.

— Да ты что...

— И знаешь, что произошло в последний раз? Наш постоянный посетитель утащил у меня диски прямо из-под носа.

— Не может быть, — удивился он так искренне, что я была на грани того, чтобы вмиг поверить: мне все показалось, я ничего не слышала, а эти несчастные сборники украл кто-то до его прихода.

— Дело не в том, что хозяин взыщет с меня деньги за потерю, хотя зарплата у меня и так небольшая, ну не поедят дети лишнего мороженого, а в том, что это сделал человек, которому я полностью доверяла...

На этом самом пафосно-воспитательном месте моя Янка, возможно, от того, что ее лишат любимого продукта из-за какого-то мелкого воришки, сжимая кулачки, неожиданно прошипела:

— Я убила бы его, мама, я не знаю, что бы я с ним сделала, разве так можно поступать?!

— Я бы тоже, — серьезно поддакнул ей маленький Марик, едва торчавший из-за стола.

Мне показалось, «фотограф», не справившись с ролью, изменился в лице: «Ну, я пойду, тороплюсь сегодня!»

Через шесть дней и четыре часа он пришел снова. В глаза не смотрел. Руки немножко дрожали. Он протянул мне два диска в коробочках, которые произвели тот же знакомый звук, и тихо произнес:

— Извини меня, если можешь, я не знаю, что со мной случилось тогда...

— А знаешь, иногда дети могут научить взрослых чему-то хорошему.

\*\*\*

**Он** ворвался в книжную лавку на полном хо-

ду — огромный, черный, облезлый, обыкновенный израильский помойный пес, немного смахивающий на овчарку. Я была в магазине одна и не скажу, что вовсе не испугалась, хотя к собакам отношусь душевно, — уж слишком это было неожиданно. Он как будто знал, куда неся, — сразу же рванул под стол, опустил морду в урну и с остервенением начал вытаскивать оттуда мои яблочные огрызки. Телефонный провод, свисавший со стола, лежал у него на шее и подрагивал от жевания.

— Как тебе не стыдно, — интеллигентно начала я, — ну, что ты делаешь? Он не обращал на меня никакого внимания

— Иди на место, — сказала я погромче. Пес глянул на меня с осторожностью, а может, услышал знакомую в далеком прошлом команду и задумался, где ж это теперь его место, однако продолжил свою работу — вытряхнул все содержимое урны на пол и по-деловому разобрался с ним...

— Ну-ка, пошел! — усилила я звук и услышала устрашающее «Ррр-р-р».

Я встала из-за стола, схватила с полки толстый словарь английского языка, который привезли на прошлой неделе, и притопнула ножкой на высоком каблукке:

— Это что за безобразие, в конце концов!?

Собакевичу не понравилось, что я перешла к каким-то активным действиям, он, зыркнув огромными глазами, для начала выскочил из-под стола. В этот момент телефонный шнур обвил его шею, пес, естественно, дернулся — провод затянулся сильнее. Тогда он резко отпрянул в сторону — провод выскочил из розетки. Аппарат повис на несчастной шее ошарашенного животного, трубка свалилась на пол. Пес — к двери. Я — теперь уже совершенно бесстрашно — за ним. Наш книжный располагался в центре ашдодского многолюдного района «шука бет». Изумленная толпа увидела бегущего через торговую площадь здорового пса с болтающимся наперевес аппаратом и орущую не своим голосом женщину: «Отдай телефон, это не мой!» Собак совершенно обалдел и остановился. Толпа увеличивалась. Народ от души хохотал, особенно остроумные подавали репли-

ки: «Это реклама Безека! (израильская телефонная компания) Отлично придумали!»

Мне было не до смеха. Я уже представляла, как глупо будет выглядеть моя история о потере телефонного аппарата для моего хозяина. Шварц скажет вначале тихим голосом: «Ну, такое может случиться только с тобой. Ни с кем нормальным такое не происходит»

Сделав шаг в сторону пса, я умоляюще, насколько могла, миролюбиво, попросила: «Собачка, ну, пожалуйста, прошу тебя, отдай мне телефончик». Нет, я ему категорически не нравилась. Пес оскалил зубы, народ сказал «Вау». Положение стало совсем аховым. Но тут из толпы вышел обыкновенный герой дня, который всегда оказывается рядом в нужный момент, он уверенно и спокойно подошел к разъяренной и одновременно испуганной собаке, молча снял аппарат с ее шеи, отдал его мне и быстро пошел прочь.

— Спасибо, скажите хотя бы ваше имя, — благодарно закричала я вслед, но как водится, ответа от настоящего героя не последовало.

На следующий день, где-то ближе к полудню, я разговаривала с покупателем — мы обсужда-

ли нового Мураками и вдруг... замерла в оцепенении — на пороге стоял мой вчерашний посетитель и вилял хвостом. Прошел в магазин, как к себе домой, и сел напротив меня, глядя прямо в глаза.

— Уйди, наглая рожа, чтоб я тебя не видела, — произнесла я скорее обиженно, чем зло.

— Почему Вы так с ним разговариваете?! — возмутился покупатель, видимо, любитель не только Мураками, но и животных.

— Но надо же понимать, — сказал он после моего краткого рассказа о вчерашнем, посмотрите на его морду, Вы что, не видите, — он ведь извиниться пришел.

## ***МОИ ДЛИННОУХИЕ***

Если разобраться, жизнь раздает много подарков. Ничего или почти ничего не требуется для этого делать, даже везения не нужно: протяни руку, возьми и радуйся — за что нам такое счастье? Какое-то незаслуженное, легкое,

доступное. Поток нежности, верности, понимания, всепрощения... Мои собаки. Мои дружочки. Мои псины. Мои любимые ушастые девки. Только одна плата-боль за эту подаренную свыше любовь — их короткий век и тяжелая дума: все, это было в последний раз, больше никогда не заведу...

Мы летим с Черного моря, из Одессы — мама, папа и я. Мне лет шесть, ничего хорошего от полета я не жду — всегда приходится звать стюардессу и просить пакетик. Мама: «Может, мы сразу попросим?». Может и сразу. К окошку я не сажусь, пусть там сидит папа — самый смелый. Посматриваю вокруг. И вдруг — не верю своим глазам: прямо напротив прохода, у одной женщины на руках сидит — нет, это не игрушка — это настоящая собачка, маленькая и пушистая, белая шерсть колечком, на мордочке черные горошинки примерно одного размера — глаза и нос. Никогда не видела ничего подобного. Женщина ее постоянно обнимает и целует в мордочку, а я замороженно слежу за каждым движением. Хочешь подержать — не может быть — возьми-возьми... Вот и

первая доза любви к длинноухим — разливается по организму теплом, кружит голову, пьянит запахом младенца. Какая порода? Это болонка, купили на одесском базаре, десять рублей, ну иди к мамочке, красавица моя. Хочется повернуть самолет и побежать на рынок. Мама: «Ну, ничего, мы дома такую посмотрим». Я не забыла. Прошу родителей узнать, где можно найти такую собачку. В нашем городе нет. Папа поищет в Москве, когда будет в командировке. Нашел, но щенят еще нет. Родились, но уже продали, через год будут еще... Мечта не исчезает, а только подогревается ожиданием — пушистого теплого комочка. Нет, этого не может быть — опять продали?! И снова?!

Все мои подружки знают о моей думе, одна из них, по прозвищу Натансон, приносит адрес — там родились японские болонки. Мне уже 10 лет, но одной мне не разрешают ездить в далекие районы города. Подключаю старшего брата Илюшу. Он уже большой, студент, и у него есть стипендия. Мы едем на автобусе, в тридцатиградусный мороз. Дверь открывает очень маленький человечек, лилипут, в руках у него

маленькая дюймовочкина туфелька. «Проходите, проходите», — детским голоском приглашает женщина, его жена, со странным именем Кити. Оказалось, что они артисты цирка на пенсии, занимаются сапожным делом, а раньше у них был номер с болонкой, эти щенки — вон там в коробке, это уже внуки цирковой актрисы. Их собачья мама не очень-то приветлива и выглядит усталой кормящей мамашей. Выбираем самую волосатую с рыжеватыми ушками, отдаем 30 рублей, заворачиваем в шарф с головой, прячем поближе к телу. Везем тайное сокровище домой — что же нам скажут родители? Братик достает из за пазухи создание с его ладонь, из него выливается лужица... «Ой, какая хорошенькая, — говорит мама, — ну вы конспираторы...». Уф-ф-ф, камень с души, ругать не будут.

Как назовем? Папа предлагает взять словарь иностранных слов — ну раз собачка — японка, не называть же ее Даша. Листаем и примеряем, что-то все не нравится, и вот почти в конце: тутти — музыкальный термин, исполнение отдельных эпизодов музыкального произведения

всем составом оркестра или хора... Здорово! Конечно, играет весь оркестр, и даже грохочут литавры — у меня наконец появилась своя собака! Ну и ассоциация со сказочным принцем Тутти не помешает. Я с ней не расстаюсь. Когда делаю уроки, она лежит в коробке из-под моей обуви на письменном столе, дремлет, но если встаю, нервничает, ей необходимо пойти за мной, а спрыгнуть со стола сама она еще не может. Цирковая генетика не подводит, кажется, Тутти понимает все с полуслова. А еще некоторые говорили: болонка — это кусок дуры. Только не наша. Сидеть, лежать, дай лапу — это просто семечки, за шорох фольги от шоколада сделает. Новому приему обучить ничего не стоит, надо просто объяснить по-человечески, а лучше показать. Я прыгаю через бабулину доску для раскатки теста, а Тутка за мной — и туда, и обратно, и туда, и обратно... Вот умница, теперь давай сама. Ищи Машу! Где Машенька? Мамина любимая игра. Тутти поделовому проверяет все места, где я уже пряталась в прошлый раз. Вначале заглядывает под кровать, потом под стол, потом встает на зад-

ние лапы и пытается заглянуть за штору, не стою ли я на подоконнике, быстро бежит дальше. А я тихонько сижу в ванне, без воды, конечно, притаилась. О, идет, ближе, ближе. «Нашла Машу! Молодец, хорошая девочка!» — вся семья в восторге. И собака тоже, подлетает до моего носа. «Мам, правда мы похожи?». Мама смеется: «Одно лицо». Папа иногда достает скрипку из футляра, завернутую в тонкий бордовый бархат, протирает смычок канифолью и начинает играть, Тутти подвывает тихонько, потом громче, громче, шея ее извивается, кажется, еще немного и с нее облезет кожа. Я не могу понять, ей настолько нравится или настолько нет? Мои этюды на пианино, например, на нее не действуют вовсе...

Мне 18 лет, мальчики не обращают на меня никакого внимания, я плачу не в подушку, а в тутькину жилетку — «Собака, ты понимаешь, меня никто не поцеловал?!». Тутти быстрым языком слизывает мои слезы, прижимается, но ничего не помогает. Тогда она спрыгивает с кровати и начинает «танцевать вальс», сама, без команды, кружится на двух лапках. Она отвле-

кает меня, она развлекает меня, она успокаивает, как может. Смотреть на нее — эстетическое удовольствие — длинная белоснежная шерсть с кремовой отделкой, потрясающий хвост, словно шелковая кисть, огромные глаза-маслины. Ее женская судьба определена нашей ветеринарной безграмотностью. Красотке Тутти приводят вполне приятного пса, он не голубых кровей, не с бабушкой из цирка, не японец, но породистый болонк, вполне достойный кавалер. Приводит его бывший летчик в отставке, раненый на фронте, выдавший виды пожилой человек, однако ни грамма не понимающий в собачьих случаях. Моя мама тоже не проходила этого в медицинском институте. Не дожидаясь тутькиной течки, их запирают в чуланчике и ждут. Через несколько часов заглядывают — у пса язык, пожалуй, значительно дальше «плеча», наша собаченция находится на недоступной для ее роста высоте и оттуда посылает грозные сверкающие взгляды на ухажера, сопровождая их злобным рыком.

Мы спим с ней обнявшись — мама-микробиолог ничего не может поделать, объясняет

обеим, как это негигиенично и неправильно, но даже если нас разлучают, утром мы оказываемся под одним одеялом. Тутькины коготочки стучат по полу, сопровождая любое мое передвижение по квартире. За многие годы я так к нему привыкаю, что поселившись в другом городе, не сразу понимаю, чего мне недостает в новом жилище, чего-то не хватает, как воздуха. Шумового сопровождения, цокота, постоянной компании, дуэта, да что там, — моей псины. Ну как ее возьмешь с собой? Вместо молодого специалиста в редакцию приехала бы — здрасьте вам — дама с собачкой?! Подожди, дорогая моя, я приеду в отпуск через год. Несколько дней после моего отъезда Тутти не ест, лежит все время у входной двери и ждет меня. Потом привыкает, смиряется. Потом очень болеет. Мне родители не рассказывают, не хотят расстраивать. Она подходит к маме на кухне, вытягивает шею, заглядывает в глаза, открывает рот, будто что-то хочет сказать... и растягивается на полу. Мама: «Никогда бы не поверила, что собаки прощаются».

Прости, моя собака, моя первая собачья лю-

бовь, что я тебя оставила, у людей столько важных дел в жизни, прости, что завела через несколько лет другую ушастую помесь болонки и коккер-спаниэля. Полукровка Дези была с характером, слишком самостоятельна, она не простила мне появления детей, просто перестала со мной разговаривать и предпочитала гулять одна. В отместку начала рожать в девять лет, когда приличные собаки уже думают о пенсии... Третья девчонка, медовая американская коккерша Лесси, эмигрировала с нами из Израиля в Канаду, пережив шок в ящике багажного отделения. Ей вообще везло на переезды и семейные драмы. Лесси обожала всех людей, знакомых и незнакомых, любивших собак и не очень, про такое говорят — совсем не разбирается в людях. После ее смерти мама сказала: «Ну, следующая буду я». Через полгода мамы не стало.

Прошло время, дочка произнесла довольно категорично: «Нельзя все время горевать, нужно завести собаку». На это нет ни сил, ни настроения... Но мы смотрим сайты с объявлениями, переписываемся с хозяевами и немного

отходим, открывается которое там по жизни дыхание? Хотели взять белого коккера с рыжими подпалинами. Когда приезжаем за ним, все щенки бросаются к краешку ящика, где обитают, словно дети просят: «Возьми меня, возьми меня». И только одна, рыжеватая такая, сидит отдельно, в сторонке, не участвует в этом соревновании и смотрит на меня таким осознанным умненьким взглядом издалека, мол, и так все понятно. Она и дальше так себя вела — упрямо и своенравно. Я никак не могла ей вдолбить, что делать свои дела нельзя в доме. Потом стало ясно, что она меня понимает, причем очень хорошо, просто она решила, зимний щенок, что дома ей гораздо удобнее. Тогда отчаявшись, муж сказал: «Придется сдавать в приют», а потом ей: «Ты понимаешь, Бекки, у нас уже нет выхода». Она все поняла. С тех пор лучшее средство воспитания — сослаться на вожака нашей стаи: «Вот сейчас папа придет и скажет тебе»...

Моя собака, прошу тебя, не уходи от нас слишком скоро.

## **НАШИ ЛЮДИ**

Мы совсем недавно познакомились с Сережкой, и я, конечно, тащу его на слет авторской песни — «Не беспокойся, всего на два дня, с палаткой, котелком, мангалом и детьми»

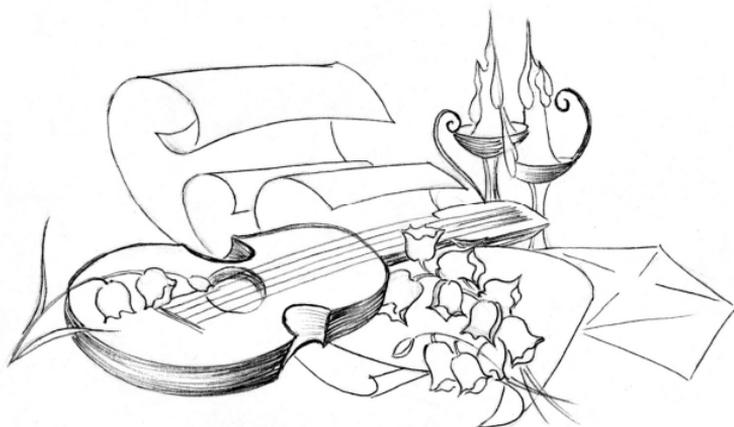
— Маня, — серьезно спрашивает меня Лилья, — а ты его предупредила о том, что он увидит?

— А что он такого увидит?!

— Ты что, не понимаешь?! Он ведь, наверно, серьезный человек, программист, кандидат наук... Приезжает с женщиной, которая ему нравится, и вдруг... на нее в буквальном смысле кидаются мужики — бегут со всех сторон, обнимают, подбрасывают в воздух, орут, как сумасшедшие... Ты посмотри на это взглядом нормального человека.

— Лилья... — растерялась я, — у нас в КСП полно программистов... подожди, а что, мы совсем плохо выглядим?

— Не знаю, Манюнь, — я бы не рисковала.



— Сережа, — начала я издавека, — когда люди приезжают на слет, они очень рады видеть друг друга, э-э... они, знаешь, эмоциональные такие... Ну, потому что КСП — это... э-э...

Сейчас запутаюсь окончательно.

Сергеа был большим любителем авторской песни (у него, кстати, обнаружилась приличная каэспешная коллекция дисков, кассет и книг), но любителем — так сложилось — домашним, «невыездным». Я же тогда моталась по всему Израилю, в котором событий, связанных с КСП было гораздо больше, чем времени, — слеты,

концерты наших и гастролирующих бардов, семинары... Несколько лет вела полосу «Мое королевство» в израильской газете «Новости недели», описывая бурно цветущую бардовскую жизнь, но вот с формулировками у меня, пожалуй, — пробел. Как объяснить «нормальному человеку» словами то, что можно только ощутить...

А ощутивши, повзрослевши и помудревши, понять, что это — наполовину придуманная страна братства, о которой во все времена мечтали. Однако в этой стране живут разные люди — очень талантливые, с изюминкой, меченые Богом. И пишущие песни, не известно зачем, может, и не стоило бы. Не равнодушные, с чутким отзывчивым сердечком. И тяжело страдающие звездной болезнью, что им до других... В общем, разные, как в любом королевстве. Но без этого братства тебе в жизни как будто не хватает воздуха, ты задыхаешься от будничности и отсутствия праздника на душе. А здесь... можно прикрыть глаза, положить руки друг другу на плечи — при этом совершенно все равно, в какой точке мира ты нахо-

дишься — и пропеть «Надежды маленький оркестрик под управлением любви...».

КСП — это межпланетный пароль. Тебе стоит сказать: «Ребята, мы — свои», как тут же — протянутая рука, добрая улыбка, искренний интерес... К пятидесяти ты точно знаешь, что это не всегда и не совсем так. И даже вполне возможно, что это вовсе не правда. Но ты, наверно, к счастью, — неисправимый романтик, ничто уже тебя не изменит, если ты пришел с этим «грузом» к седому полтиннику... И даже ночлег в палатке не испугает твою постанывающую спину и немного постаревшие суставы — ну, разве что прикупим качественный, добротный надувной матрац — и вперед: на встречу друзьям — как же я вас люблю, песням у костра всю ночь напролет, бесконечным разговорам про бардовское творчество: «Нет, ты чувствуешь, как он сказал, какая строчка! Ге-ни-аль-но!».

Сидим у костра. Гитара — бреньк-бреньк, и мелодии, и лица — такие родные. А вокруг — ну, пальмы, а были когда-то уральские леса, а

потом берег Тихого Океана — какая ж разница? Диныч говорит — ой, ну, какое счастье, ну, наконец-то собрались. Давайте уже споем окуджавскую «В городском саду...». Петь с Динычем одно удовольствие: она помнит все слова песен до конца. Только ты призабыл — ну, все, провал в памяти, склероз — она подставит тебе плечо: «...но из прошлого, из былой печали, как ни сетую...» Динка, родная душа, надежна во всем, как набор первой медицинской помощи. Лиля. Светлое, смешливое, солнечное, в рыжих кудряшках, очки — продолжение летуче-стрекозинового портрета... Она часто повторяет: «Будем говорить серьезно...», и это так не вяжется с ее легким образом. Гремучая смесь рационального твердо стоящего на ногах земного начала и розовой поднебесной мечты. Борька Шахнович — рядышком. В вечном организаторском каэспешном азарте.

Кипнисы. Это Мишкин в 93-м году наклеил на столб, написанное от руки, объявление — все, кто любит КСП, — приходите... Организовал в ашдодском Доме художника клуб самодеятельной песни, потом один имевший успех

концерт... и ушел. Он любит давать старт чему-то яркому и переходить к воплощению следующей идеи. Его «жена и соратник» — чаще в тени, я знаю, Аня не любит прожекторов, но она явно — заведующая «психологическо-философской частью» мишкиных проектов. В отличие от нас всех, «домашних вокалистов», у Анюты есть настоящий голос, с которым у нее сложные отношения уже много лет... Никак не могу с ней наговориться вдоволь — времени ни на что не хватает. А вот и «композитор Геймансон», сочиняющий, когда у него хорошее настроение, музыку. Мы даже когда-то на Дуговке с ним пели сто лет назад: «Что успею, то успею, ветер дует с гор...». Он много тогда написал удачного на стихи израильской поэтессы Рины Левинзон. Геймансон наш такой камерный, такой тихий, микрофона боится — не заставишь подойти. Но если у костра его «раскрутить» — Динке иногда удастся — будет так душевно, правда, сегодня, чувствую, это вряд ли удастся...

Мы с Сережкой путешествуем по Швейцарии. Из Интернета узнаем о событии, которое

никак не можем пропустить — Швейцарский слет авторской песни. Ну, блин... Едем до игрушечного городка Сент-Серг, останавливаемся в гостинице. Забираемся на какую-то гору, а с нее — ух, ты! — виден Монблан... «Ребята, вы откуда пришли? — Ну, вообще-то из Израиля». Слет маленький, с одной стороны — импровизированная сцена, с другой — надпись «Осторожно, обрыв!», совсем домашний, с каким уровнем, не считая Татьяны Флейшман, конечно, но нам почему-то так уютно здесь... 2007-й год — мчимся из Оттавы в Пенсильванию, на американский фестиваль, еле проникли на него — у них какая-то там сложная система заезда, пришлось письмо написать — «Пожалуйста, помогите ветерану каэспешного движения»... Слет — громадный по заграничным масштабам: тысячи людей, палатки, гитары, флаги висят — американский, канадский... Душа поет двое суток, практически без устали и перерыва на обед. Как говорит Геймансон, «Машка, ты — старая бандероль, а туда же». Туда же, туда же...

## ***ПРИВИВКА ОТ СТОЛБНЯКА***

Солнышко светит, но еще не так свирепо жарит. Настроение чудесное. Все складывается так славно — билеты в Европу мы уже купили, и мои замечательные сорок пять планируем отметить там, а точнее, в Зальцбурге. Это киношная сказка: после нескольких лет зализывания ран — любимый мужчина, отпуск, Европа! Книжное хозяйство — на мне. Хозяин уехал в Канаду, кажется, навсегда. Оставлять магазины мне страшновато, но бросается на амбразуру его неустанный и энергичный папа Игорь Маркович, да и продавщицы — вроде, тетки крепкие. Успеть нужно еще очень многое: закупить очередную порцию книг, съездить в Ашкелон, посмотреть, как там идут дела. Лучше сегодня, пока есть время. Я выскакиваю из магазина и лечу на автобусную остановку, что-то привлекает меня в витринах, мимо которых я хожу уже несколько лет на работу и с работы, успеваю отметить, что ничего в них не из-

менилось. Ради этого вывода стоило...

Стук-звон-грохот раздался в моей голове, но мне показалось, это было слышно во всей округе. Я не очень-то поняла, что случилось, мои руки, одежда — все было в крови. Подбежали люди, стали спрашивать — гверет, ат беседер, ну, в смысле в порядке? А я, собственно, не очень-то знаю. Вернулась в магазин, скорее к зеркалу. Ой, мамочки! Европа через пять дней, морда в крови, нос опух, на лбу ссадины, под глазами синяки в пол-лица.

— Сере-е-ежк, ы-ы-ы, приезжай, я вошла в столб, ы-ы-ы, — выла я в трубку.

Серега в этот момент сидел на ежегодном медицинском обследовании, у окулиста, с расширенными зрачками, полуслепой... Он, конечно, рванул на ощупь прямо из врачебного кресла в автобус, доставивший его из Тель-Авива в Ашдод. Тем временем окрестные русские деликатесные магазины сердобольно поделились льдом, который, мгновенно тая в израильском климате, растекался по моим щекам вместе со слезами, соплями и кровью.

— Ой, Марусенька, как это ты, — только и мог произнести он.

Мы побежали в поликлинику, пугая всех встречных. Я со страхом смотрела по сторонам и прижималась к Сереже — оказывается, вся земля была просто утыкана всяческими столбами, фонарями, деревьями — я никогда раньше не замечала... Это какой-то кошмар, как можно ходить по улицам!? Сделали рентген. О, ужас — перелом носа. И что с этим делать?! Ничего, — строго предупредили врачи, — недели через две будет получше, — и засандалили мне прививку против столбняка. Я решила, что терять мне совершенно нечего. С точностью до наоборот я исполняла врачебные предписания. Лила на нос и в нос все, что только можно было, делала примочки из ромашки, шалфея, детской урины, полыни с творогом — вот классное средство! Бабы советовали бодягу, но в Израиле не нашли — видно, мало поколачивают... Ссадины сдались быстро — интенсив помог, хуже было с синяками. Но благодаря полыни лик слегка просветлел, и за

день до вылета мы твердо решили — ничего не будем отменять — я надену большие черные мужицкие очки и поеду. Так и сделали. В израильском аэропорту натренированные сотрудники попросили меня снять — ну, да, пожалуйста, снимите очки — и объяснить причины некоторой синюшности под глазами.

— Вы знаете, — радостно и гордо сказала я, — я вошла в столб!

— Ну-ну, — офицер подозрительно посмотрел на Серегины немаленькие руки, вероятно, представляя размер кулака, — больше так не делайте.

— А я больше и не смогу войти в столб — у меня прививка от столбняка.

Жаль, на иврите это не звучало так весело.

## ***ДОМ, В КОТОРОМ — Я И ТЫ***

Я обожаю Интернет. И когда его называют «помойкой», я переживаю так, словно обидели моего лучшего друга. Я действительно отно-

шусь к нему трепетно и нежно, как к давнему проверенному товарищу, который протянул мне руку в унылый момент жизни, причем, не просто так — на словах или еще как, а деятельно и конкретно. Совершенно безвозмездно и бескорыстно. Он просто познакомил меня с Сережкой. Все вокруг стало другого цвета, запаха и вкуса — вкуса, запаха и цвета любви. Я вдруг остро ощутила, что мне не хватает... хвоста или хотя бы маленького хвостика колечком, чтобы ничего не говорить, не объяснять, не рассказывать людям, а просто бегать и радостно вилять хвостом, сообщая миру, что жизнь прекрасна! Я прочитала объявление и позвонила. Мы договорились встретиться.

Моя мама сказала: «Ты сошла с ума — трое детей».

И я пошла на свидание. Почему-то не хотелось ничего такого на себя надевать, как-то особенно краситься. Пошла и все. Вначале мы пробежали мимо друг друга, потом развернулись почти одновременно и почти одновременно сказали: «Привет». Он держал в руках какую-то авоську — разглядывать было неудоб-

но. Ну, что, пойдём к морю? Хорошо, к морю. Шли очень быстро (теперь мне кажется, что мы ещё тогда взяли темп нашей жизни) и так же быстро рассказывали свои истории одиночества. Они звучали совсем не драматично, пожалуй, как-то буднично, а иногда даже весело в своей похожести друг на друга — добежав до моря, мы обнаружили, что уже легко преодолели самую тяжёлую часть знакомства. Потом сели на скамеечку и проговорили больше трёх часов. Я тоже люблю авторскую песню. Я тоже приехал в Израиль в 92-м. Я тоже собиралась в Канаду.

— Ой, меня дети заждались, думают, куда это я пропал.

— Ой, меня тоже.

Я села на маршрутку, и вдогонку Сережка протянул мне цветы из той самой авоськи. Я была спокойна, как никогда. Я знала, что он позвонит. Мы встретились через три дня, потом ещё раз через два...

— Я вот думаю, — сказал он без всякого вступления, — если мы купим микроавтобус, то войдем в него все или нет?

— А что, мы разве уже куда-то вместе едем? — испугалась я резкому повороту, к которому совсем не была еще готова, но женская интуиция тихонько прошептала на ушко, что мне сделали предложение, с которым где-то в глубине души я, пожалуй, согласна. Нет, я точно согласна. О, я еще как согласна! Через полгода мы объявили своим детям, что решили жить вместе, в одном доме. Сдали свои квартиры и сняли одну двухэтажную с выходом на огромную крышу и видом на море.

Моя мама сказала: «Ты сошла с ума — пятеро детей».

Кастрюля выросла раза в три и была такого неприличного размера, что больше походила на ведро. Сковородой явно можно было убить — я ее еле поднимала, диаметр 36 сантиметров, зато на нее входило много, очень много котлет. Но это что... Представьте целый ворох, нет мешок, нет, ГОРУ из носков, трусов, полотенец — чьи эти? А эти чьи?! Одна приятельница сострила — «Ну, ты, посмотри на нее: была квартира как квартира, так она сменила ее на прачечную». Думали ли мы, когда создавали

этот пионерский лагерь, в коллектив которого плавно влились, кроме нас и детей, моя мама, а еще удивленная изменившимся обстоятельствам и запахам собака Лесси, что... носков будет столько?! Умножали ли мы ноги на носки?! Осознавали ли, что два холодильника, набитые едой, не способны удовлетворить желаний вечно голодных детей?! Нет, меньше всего мы думали о быте, в конце концов, в цивилизной стране быт — высосанная из пальца проблема, хотя...

Я приготовила несколько блюд. Суп, два вторых — поскольку наш «самый белобрысый» Мишка по-израильски не мешает молочное с мясным, стою-думаю о гарнире — какой бы сделать, чтобы все ели? Выхожу из положения. Довольна. А, еще компот — все любят, если успеть остудить. Красота. Все на плите. Скоро придут. Первый прошел к плите прямо в куртке и с рюкзаком на плечах, он всегда так делает, молча проверил содержимое самой большой плошки. На угрюмом лице — ни тени реакции... Вторая скорчила мордочку: «Ихса» (пожалуй, не самый искренний перевод с иврита в этом контексте — гадость). Третий

открыл все кастрюли по очереди и недовольно спросил: «А еда какая-нибудь есть?».

Мы своими руками организовали отряд подростков, которые провели нас через все трудности своего замечательного возраста со свойственными ему эгоизмом, неуравновешенностью, самолюбованием и нежеланием понять другого. Кроме того, все мы — дети и взрослые — жили еще с периодическими приступами острой боли: каждого из нас кто-то оставил... На наше счастье, дети наши оказались при этом хорошими людьми, они не были ни злобными, ни злыми по большому счету, а мы оказались в меру терпеливыми и безмерно счастливыми, чтобы уж очень сосредоточиваться на этих подростковых выкрутасах. Все они по-разному переживали обрушившийся на них новый семейный уклад. Сережины три сына вряд ли о нем мечтали. Мои с первого дня, как мы остались одни, наоборот, грезили о новом папе, ну и пусть с детьми, говорили они. Сережку они приняли сразу, но, по-видимому, рисовали себе в мечтах какой-то другой дом. А дом был наскоро и искусственно сколоченный,

шаткий, и потому все неокрепшее в детях, быть может, не такое уж заметное раньше, тут же повылезало и пышно расцвело — это была их защитная реакция. Они ябедничали друг на друга, подставляли, обижали, прятали еду, несли ее в свои норки, очерчивали свою территорию, держались за свои вещички. Мы не просыхали от событий мирового значения — то младшего закрыли в комнате, а он плакал, то спрятали ключи от квартиры, то на яблоках написали: «Никому не есть — это мое», то подняли вселенский крик: «Кто съел мороженое — оно недавно еще было в коробке...»

Медленно, тяжело, с рецидивами, но отогрелись понемногу, притерлись, потому что дом был, хоть и скрипучий, но был! Он был настоящий — с мамой и папой, с их любовью, с бабушкой, с собакой, с запахами пирогов — все как положено. Наши дети не могли это ни почувствовать, ни оценить... И сейчас не могут. Это произойдет гораздо позже, когда они будут в том нашем возрасте, за сорок, когда появятся их собственные семейные проблемы и когда их собственные дети будут так предска-

зуюмо-гормонально-подростково выступать во всей своей красе этого неизбежного периода жизни. Когда кто-то из них первым произнес: «А что сказали НАШИ РОДИТЕЛИ по этому поводу? — а тот второй, слушатель, ответил: — ОНИ сказали...», слезы неожиданно побежали у меня из глаз, хотя ничего не случилось. Просто прошел целый кусок жизни до этого События, когда нас хотя бы в разговоре объединили в одно целое без запинки, легко и естественно. О, не нужно делать из нас героев сериала! Никакой идиллии нет. Мы и сейчас в трудных случаях часто рассуждаем — а правильно ли все устроили с детьми? Мы, думая о них и о себе, с первого дня подставили друг друга под обстрел, который, к счастью, оборачивается долгим затишьем, но может начаться в любую, самую неожиданную минуту.

— А почему Вы мне об этом говорите? — спрашивает меня мальчик, наш сын, с которым я прожила годы. — Вы мне никто!

И я снова проваливаюсь в бездну безысходности, несправедливости, невыносимой боли. Я в одно мгновение становлюсь соседкой, повари-

хой, прачкой, уборщицей — с меня в одно мгновение безжалостно содрали погоны Матери, которые я надела на себя сама... Мы по-разному «строили» воспитательный процесс. Сережкин принцип — ничего не надо объяснять, не надо пилить, не нужно никаких слов. Нужно жить так, как ты считаешь правильным, — дети это впитают и повторяют потом в своей собственной судьбе. Это принцип сильного человека, уверенного, скорее, не в себе, а в том, что Жизнь устроена правильно и мудро, что все будет в полном порядке. Я же — еврейская мамашка, вечно в нервах то за одного, то за другого — пыталась все объяснить им словами. «Мам, ну, сколько ты говоришь, а?!». Я была уверена, что если ребенку не сказать, что плохо и что хорошо, он может об этом никогда не узнать. Сейчас я расскажу им, что жадничать плохо, а подставлять другого некрасиво, что не читать книги позорно, что нужно поздравлять людей с днями рождений, улыбаться, здороваясь, говорить «доброе утро», что... — и они хотя бы задумаются об этом!

О, я еще очень сдерживалась и делала это не

так уж часто, но все же выступала, причем зудела пафосно, с примерами из своей жизни, жизни друзей и сослуживцев, соседей и героев книг. Я еще до сих пор иногда не могу удержаться и упорно пытаюсь навязать им свои ценности. Как сказала моя Янка, — «Легче поступить в университет, чем с тобой связываться». Хотя — причем тут университет? Я очень терпелива к людям, маленьким и большим, я люблю их такими, какие они есть, и очень радуюсь, что они такие разные, иначе было бы так скучно жить на свете. Но с годами определилось то, что не принимает душа ни при каких обстоятельствах, не мирится, не терпит, бунтует... Я знаю, у нас хорошие дети. Еще ничего не произошло, да и наверняка не произойдет, но опыт научил унюхивать даже малюсенькие росточки зависти, душевной лени, зачатки фальши, намеки на непорядочность, потенциальную готовность к равнодушию. Паникую, это для меня так страшно!

Неужели он завидует богатству? Наш ребенок?! Этого не может быть. Зависть — я видела это в своей жизни не один раз — как ржав-

чина, быстро разъедает все доброе в человеке и пожирает время — разве не лучше потратить его на себя, а усилия — на создание того, чему завидуешь... Ну да, я так и скажу им... Звучит ли это доказательно? А может, действительно не нудить на этот раз? Сережк, ну почему они такие нелюбопытные? Они ведь поэтому и не читают книги, им неинтересно ЗНАТЬ! Послушал бы кто-нибудь наши утренние дискуссии по выходным. Это просто утренний кошмар — прямо в постели смесь лекций по философии, психологии и педагогике, «отцы и дети»...

А время бежит. Мы уже давно переехали в Канаду. Сгрести все семейство в охапку и перевезли. И вот уже старший неожиданно для себя стал отцом семейства. А мы, стало быть, в одночасье превратились в бабушку с дедушкой, а еще в свекровь со свекром. Это произошло так быстро и неподготовленно, что, пожалуй, мы не научились ими быть. И у всех остальных детей уже тоже по роману. Как-то я пришла на кухню, а они выстроились со своими половинами у холодильника — молодые, красивые, высокие, шумные, англоязычные... А я — масенькая та-

кая девчонка с хвостиком, стою себе, потерялась совсем. Тоже мне — мать.

Говорила мне мама: «Ты сошла с ума — это сейчас их десять, а когда они все нарожают!?»

## ***НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТВЕТ***

С глубокого детства я знала, что мои родители — евреи, что их родители — мои бабушка с дедушкой — тоже евреи и что выходить замуж лучше за еврея: «А потому, что когда твой русский муж напьется, он обязательно скажет, что ты — жидовка»... Но все, о чем говорили в семье, очень сильно расходилось с тем, что происходило вокруг. У бабушки двое из ее пятерых детей расчудесно жили с русскими, нарожали детей, и бабуля к ним, по-моему, очень по-доброму относилась. В школе меня никогда никто не обижал, я знала, что я — другая, ну, так и что? В классе учились русские, татары, украинцы, евреи. У меня было (и есть) несколько любимых, очень родных русских девочек.

Мне везло: даже если кто-то что-нибудь и обсуждал на эту тему, мои уши в детстве ничего такого не слышали... Потом пришло время поступать в университет, я давно решила, что пойду на журналистику, и не было силы, которая могла меня свернуть с пути. Однако и родители, и их друзья, и подсланные ими знакомые упорно твердили, что на идеологические факультеты давно не берут евреев: «Ты потеряешь год и будешь жить с обидой».

Как потом выяснилось, поступила я, как и другие «лица еврейской национальности», случайно. Существует такая легенда, за достоверность которой я не ручаюсь. Во время вступительных экзаменов декан ушел в отпуск, его заменяла замдекана — абсолютно русская Фролова, не имеющая никаких предрассудков и имеющая, как следствие этого, — еврейского мужа. Она, не обращая внимания, на эту сторону процесса, как и положено нормальному человеку, дождалась результатов честных вступительных экзаменов и вывесила списки поступивших. И о, ужас, в них оказалось немало, как говорила моя подружка Маринка Шафран,

«французов». Наутро Фролову вызвали в обком партии и указали на сие происшествие. Попросили изменить списки. Она ответила, что они висят на доске, и их уже видели... Испугать ее не удалось — она не была членом партии. Легенда утверждает, что Лена Ивановна купила себе после этого огромный букет цветов. Однако узнала я об этой истории через много лет после окончания универа, а стало быть, мои уши в юности опять ничего не слышали... В Узбекистане, в одном кишлаке, куда меня отправили в командировку, мужик, сузив глазки, ласково спросил: «А ты какая будешь нация, а?»

— Еврейка.

— Не, ты не еврей, ты не похож, я бухариков знаю.

А, вот в чем дело — он видел только бухарских евреев.

— Но ты хороший, красивый... Успокоил.

В Узбекистане меня легко, быстро и рано по возрасту приняли в члены Союза журналистов СССР, и там моя национальность не имела никакого значения или наоборот, я была «пла-

новым меньшинством» для этих мест. Через три года вернулась в свой Свердловск, начала искать работу. В многотиражке одного из «ящиков» — так называли закрытые военные заводы — редактор похвалила мои газетные материалы: «Вы мне подходите». Через день вызвала меня, и, не поднимая глаз, сказала: «Мы не можем Вас взять». Естественно, я спросила, почему. Она не смогла придумать ничего и, наконец, озвучила то, что я раньше никогда не слышала ушами: «Ваша национальность не подходит для ящика», — и убежала, покраснев. Ну да, в ящик нам рановато...

Я вышла замуж за «смесь». Его мама была украинкой, а папа — латышом. Когда этот самый отец-латыш, который никогда потом не жил со своей семьей, служил в армии, в военном билете от его фамилии откусили для удобства непривычное прибалтийское окончание, и вместо Лакманиса появился рядовой Лакман. Мой будущий муж, ничего не понимающий в еврейском национальном вопросе, сказал: «Видишь, как все хорошо складывается, ты вый-

дешь за меня замуж, возьмешь мою фамилию, и тебя везде будут брать на работу».

Наши дети были еще малышами, когда мы решили переехать в Израиль. В садике и потом в израильской школе их, как и всех, кто приехал из бывшего СССР, называли русскими. Мы разговаривали на русском дома, читали им русские народные сказки и стихи Пушкина, соблюдая некоторые еврейские традиции, чаще в виде покупки мацы на Песах. Во втором браке национальная путаница достигла вселенских масштабов. Сережка оказался не просто «половинкой», а гремучей смесью, родившейся в Чечне от еврейской мамы и терского казака. Серезины родители очень давно умерли, когда он был совсем юным, на эту тему с ним никто не разговаривал, и мы с ним часто теперь прокручиваем обрывки информации, пытаюсь понять, как такое вообще могло случиться.

Серезина мама была эвакуирована с Украины в Грозный во время Великой Отечественной, ее отец погиб на фронте. Мама и сестра были с ней первое время, а потом уехали жить

в Москву. Она осталась в Грозном. Работала хирургом, никогда не скрывала своей национальности и не меняла имени, как это делали многие... Ноэми Абрамовна Клемперт в 37 лет впервые вышла замуж. Можно себе представить, как ее приняли родственники-казаки: глаза б не видели... Вряд ли и с ее стороны родные были в восторге — национальная память живуча и никуда не исчезает... Мы можем сколько угодно рассуждать об этом, но вот он сидит рядом, мой родной мальчик, плод этого невозможного союза — советское воспитание, голубые глаза, совершенно еврейский нос, казачья решительность, широкие плечи... Русская бабушка первой Сережиной жены (которая, кстати, приняла в Израиле Гийюр) вышла замуж за обрусевшего немца. Накануне Отечественной войны по непроверенным данным немца отправили в Германию, а бабушку с дочкой сослали на остров Ольхон на Байкале. Там ее дочка родила от сосланного поляка девочку. Не теряем нити: у Сережиных детей еврейско-казацко-русско-немецко-польские корни. У моих: еврейско-латышско-украинские. Мы

провезли их через три страны, и они говорят на трех языках. Мы старательно воспитывали их в русской культуре, а учились они в израильской школе на иврите и некоторые из них продолжили обучение в канадской — на английском. При этом, когда им задают вполне приличный, естественный для Канады вопрос: «А вы кто?», они, не задумываясь, отвечают: «Русские». А откуда вы? Из Израиля. «Дети, — пытаемся объяснить мы, — вы не русские»... Объяснения получаются длинными, нудными и не нужными для них — в узловатом клубке путаются национальности, вероисповедания (вернее, их отсутствие), местожительства, языки...

— Ай ладно, мам, какая разница — люди и все.

Старший сын Ванька решил жениться. Свадьба обещала быть маленькой, но «настоящей» — регистрацию организовали прямо в том небольшом зале ресторана, где потом и праздновали. В Канаде вообще можно провести свадьбу даже дома в пижаме, если не хочется никуда идти. Главное — выписать человека с лицензией.

Регистратором мы выбрали Флору Кац. Она оказалась очень живенькой симпатичной ашкеназкой, коренной канадкой, неплохо знающей иврит. На предварительной встрече мы говорили между собой на русском. С местными по-английски. Но поскольку Света — будущая жена Ивана — не знала английского, Флора перешла с ней на иврит. Работники ресторана насторожились, что за третий язык вдруг включился? Начали обсуждать детали. Флора от всей своей еврейской души предложила сделать хупу. Мы стали объяснять, что дети имеют мам — не евреек, а потому по еврейскому закону хупа им не положена. Флора согласилась, но на мать (то есть на меня) посмотрела с недоверием и неподдельным интересом — мой вполне определенный вид запутал всех начисто. Эти, из ресторана, просто потеряли надежду разобраться. Пришедшие гости увидели спектакль из жизни скитающихся по миру полуевреев. Регистрация шла на английском, все слова клятвы дети произносили на иврите, гос-

ти поздравляли их на русском... Ну, и молитву «Барух ата...» Флора спела, как положено, успокоив свою реформистскую душу, — к великому изумлению одних наших новых русских приятелей, присутствующих на этом представлении. Можно только предположить, что нас ожидает, если романы наших детей закончатся свадьбами — итальянцы, шотландцы, французы и — ой, мама, вьетнамцы — еще более разукрасят нашу и без того яркую семейную картинку.

### ***СЕСТРА В ГАРМОНИИ***

Через несколько месяцев после переезда в Канаду, сидя у компьютера в безработном волнении, я начала дергать клавиатуру и искать какие-то курсы, педагога, бабушек, что-нибудь, чтобы выйти из четырех стен на англоязычный свет божий. Ничего не находилось. Думай, — говорила я себе, — думай... Что еще? Мне нужно общаться с другими людьми,

чтобы заговорить по-английски «вслух». Довольно размытые неоформленные мысли привели меня — я ведь всегда этим занималась — к пению. Два хора объявляли прием как раз через пару недель, и я, не раздумывая, выбрала Canadian Showtime Chorus, поскольку описание украшала совершенно сумасшедшая фотография. На ней стоял огромный женский хор в ярких костюмах, каких-то странных позах, в жутком веселье и разухабистости, с задраными ногами и вздернутыми руками — о, это то, что надо, — подумала я и пошла в назначенный час по адресу, сменив три автобуса за полтора часа. И все повторяла успокаивающую фразу в исполнении моей рыжей подружки Лильки: «Маня, Вы же знаете ноты»...

Это была женская капелла, поющая, естественно, без аккомпанемента, только четырехголосье. Внешне все походило на наше бардовское сборище, разношерстное, шумное, только некоторые теткы выглядели постарше и очень постарше «наших». Кофточка, шарфик... — что-то оптимистично-красненькое было у каждой, они обнимались, пицали на своем англий-

ском и очень суетились. Меня подхватили и повели в другую аудиторию. Там за пианино сидела приятная женщина, она улыбнулась и сказала: «Я — Санди, руководитель хора. Ну, давай споем!». Как раз на этом самом интересном месте я почему-то жутко, просто смертельно испугалась, старая бандероль, почти открыла рот и обнаружила, что звука нет вообще... Я вдыхаю, а потом выдыхаю, снова вдыхаю и... выдыхаю, но звук будто бы перекрыли — как кран с водой... Проглотить мне язык — что я, видимо, и сделала, — такого со мной еще не было. Ситуация зашла в тупик.

— Какой у тебя свитер красивый, потрясающий, где ты его купила? — сменила тему Санди.

Какой свитер?! О чем это она?

— А сколько ты в Канаде?

— Три месяца, — ответила я.

О, голос, кажется, появился, зазвучал, отдельное спасибо организму. В шоковом состоянии я так громко повторяла за Санди мелодии, что она сказала — да, сильное сопрано, и попросила спеть фразу из канадского гимна, который я,

кажется, никогда в жизни не слышала. Это было уже слишком. Осмелев, я спросила, ну как могла — а без слов можно повторить? Первый этап был пройден, мне выдали ноты и инструкции. С этого момента все и началось. Испытательный срок для новичков длился полтора месяца. Я ходила на репетиции и старательно учила слова. И все было бы замечательно, если бы в репертуаре не было ирландских песен в дичайшем темпе. Билась я над одной несколько недель, запоминала и так и сяк и могла уже во сне ее повторить, но в быстром темпе слова зажевывались, их как-то было значительно больше, чем укладывалось в мелодию. С бедным Серегой, выслушивающим эту ирландскую абракадабру, мы решили так: идет хороший, я бы сказала, очень своеобразный курс английского, а там как получится... Однажды ночью во сне я запела — «Что значит, на каком пела?! На английском, конечно!»

Признаюсь, что о стиле *barbershop*, в котором я обитаю больше пяти лет, я ничего раньше не знала, а между тем, он родился давным-

давно... Говорят, что когда мужчины собирались около парикмахерских, чтобы побриться, или уже побрились, они почему-то пели в четыре голоса, вероятно, от счастья, судя по мажорчику. А в 1945-м году в штате Оклахома был создан женский квартет в этом же жанре барбишопного четырехголосья, с той же самой раскладкой голосов — его появление доказало тот факт, что и дамы могут спокойно петь партию баса... Сколько ушло времени на то, чтобы это выросло в массовое движение Sweet Adeline International, я не изучала, но есть народ, у которого три поколения в семье голосят и соревнуются в этом умении... Как удалось им преумножить ряды до 30 тысяч, до 600 хоров в мире, а главное — создать, как бы это сказать точнее, Систему отношения к жизни, я пока не разгадала.

...Объявляют выступление одного из коллективов. Выходят молодые женщины и выносят два специальных инвалидных стула, которые крепятся к хоровым станкам. Потом выводят под руки шаркающих бабушек в ярких сверкающих костюмах, им тяжело идти и тяжело

стоять, поэтому их усаживают на высокие места, ну, чтобы их головы были вровень со стоящими... Бабульки сидят счастливые, болтают ножками под громкие аплодисменты зала, некоторые посылают воздушные поцелуи. И лишь после этого выходит весь хор. Только здравая мысль о слое грима помогает мне не разрыдаться... Когда мы уходим из номера гостиницы, то оставляем заклеенный конверт с номером медицинской страховки, чем боеем и что, не дай Б-г, может случиться... Я думаю, во многих случаях это, к сожалению, оправдано. Процентом десять, а у некоторых хоров и больше, — люди очень даже преклонного возраста. Я видела: с утра тихонечко пригоршню таблеток в рот — и вперед!

Да и среди нас, девчонок 40-50 лет, есть грузные, больные, прихрамывающие... Вы бы видели их во время репетиций и выступлений! Ощущение молодости, здоровья и колоссальной энергии — нет, возраста, нет веса, нет комплексов... Мы счастливы! Помню, одна сломала ногу, но ее притаскивали на репетицию на каталке, и с задранной в гипсе ногой она про-

должала петь. А другая заболела «внутренней болезнью». Ей приволокли раскладушку, одеяло, подушку, вязание, чайник, уложили — прямо со своего лежбища она издавала звуки... Чего это я так вдруг ухватилась за «медицинскую» тему в музыкальном движении? Это, наверно, от того, что я об этом часто думаю, разглядывая наших бабушек... Среди них есть одна, Грэйс, с которой мы обнимаемся каждый вторник, причем точно так же, как делали это с моей рыженькой Лилькой: художественно разбрасываем руки-крылья и несемся на полном ходу навстречу к друг другу, при этом она всегда приговаривает своей партией баса: «О, моя дорогая девочка, иди к своей маме!». Так вот каждый раз я спрашиваю ее, как она себя чувствует (вижу, что не очень-то легко ходит) — она тут же начинает рассказывать про своего мужа и его инфаркт. Никогда никто из них не говорит про болячки, про лекарства, про поликлиники, про проблемы. И в этом тоже есть какой-то психологический фокус, потому что если не произнесешь, так, значит, и нет ....

Помнится, я где-то вычитала бодряю фразу,

приблизительно звучащую так: «Старость — это только проблема зеркала»... Мы пока не будем делать скоропалительных выводов: доживем — обсудим, но похоже, для многих бабушек хоровое сообщество — это жизнь! Она МОЖЕТ в 80 лет пританцовывать и размахивать руками, краситься по два часа у зеркала, петь во весь голос, запоминая кучу текстов, она НУЖНА коллективу, поэтому пропускать репетиции нельзя, она ДОЛЖНА ездить на соревнования в другую страну, потому что это интересно и почетно, азартно и празднично. Она ОБЯЗАНА выступить в Шоу в следующем году, поэтому умереть в ЭТОМ ей просто нельзя. Вот в этих «может, нужна, должна и обязана» — жизнь!!! Не на скамеечке, не в доме престарелых, а рядом с молодыми душой женщинами, задирающими ножки в свои сороковники и полтинники, кстати, есть помоложе и гора-а-здо моложе, но их в большинстве хоров явно поменьше...

Теперь о репертуаре. Только в считанных песнях, буквально в нескольких фразах, звучит минор. Все остальные написаны в счастливом

жизнеутверждающем мажоре, с кодами во весь голос. Никаких музыкальных инструментов. Много джаза. Нам, с нашей ментальностью, трудно воспринимать это серьезно. А где же глубокий смысл? А где же тонкие переживания между строк? А где же драматизм? Окунувшись в barbershop по макушку и ощутив его прелесть, я поняла, что он — не для раздумий о смысле жизни. Он — сама жизнь! Все, кого я слышала, а тем более лучшие из коллективов (хоры и квартеты) поют настолько классно, что ты сползаешь со стула от красоты и гармонии голосов... Кроме того, люди вкладывают столько энергии, сил, души, искренних чувств в то, что, делают, что это не может не волновать. И потом кто сказал, что строчка «Я тебя люблю, а ты ушел...» не драматична? Еще как! Вообще, по моему давнему убеждению, чистое четырехголосье само по себе — нечто неземное, отдельно взятое явление, приносящее столько же восторга, сколько приносит любое творчество... Barbershop — жанр, позволяющий раскрепоститься. Ты прыгаешь на сцене, движешься, у тебя есть место вокруг, про-

странство, ты свободен! Ты поешь часто, много, громко! Нередко есть возможность похулиганить от души. Ну, а переодевания, а грим?! Вы знаете, что такое сменить колготки два раза за выступление, когда хорошо за семьдесят, а весу — под центнер? А приклеить ресницы, когда за восемьдесят? Конечно, мы все тихонько ворчим, что портим кожу, и что поскорее бы в душ, и что морщины видны под штукатуркой гораздо отчетливее, и что такая броская косметика — это кошмар, а эти алые ногти, а душевраздирающие по яркости костюмы... Но нанесение боевого окраса — ритуал, таинство превращения, коллективное творчество. И черт побери, как приятно посмотреть на свои рожицы на фотографиях, ну, если снимать издалека — глазки под мохнатыми искусственными ресничками сияют, шейки у всех открыты вот так ... Нет, это непередаваемые глубочайшие женские переживания!

— А что такое Sweet Adeline? — посмотрев на наши эмблемы, спрашивает покупатель в придорожном магазинчике, около которого останавливаются все, кто едет из США в Кана-

ду... Нас там было человек 40-50 из разных хоров, возвращающихся с конкурса. Вы спросили? Щас споем. Ка-ак запели, как грохнули. Кто-то залез практически на витрину и взялся дирижировать. Народ вокруг прямо обомлел, а мужик так виновато — ой, спасибо, говорит. А потом завтракали в приграничном ресторанчике, посреди многолюдно-случайного застолья вышел наш квартет и очень профессионально выдал пару-тройку песен под яичницу с беконом.

Не могу вам сказать, что первично — жанр, определяющий установку на счастье, или установка делает этот вид хорового пения таким лучезарным. Люди как будто «вынуждены» улыбаться, это, наверно, такой психологический практикум... Вот я иду на репетицию после неудачного рабочего дня, настроение хреновое. Захожу в зал. Красно-белая гамма бьет в глаз, да и сам ты красненький... Все улыбаются: на улыбку ты, естественно, отвечаешь улыбкой. И даже если ты ее вымучил поначалу, вскоре ты уже улыбаешься искренне, по добром, и вроде тебе хорошо. А потом включили музыку, физическая разминка, хор ходит

ходуном, потом распевка... Какие там заботы!? Через четыре часа ты, как новенький, сверкающий, хрустящий огурчик. Работоспособность у коллектива бешеная. Серьезность умиляет, дисциплина удивляет, дружба восхищает (вы не знаете, как сто баб могут не перессориться?). Что уж говорить о том, что за это все мы платим взносы, ездим в поездки за свой счет и вечно собираем на что-то очередное... Может, это говорит, о высоком уровне жизни в стране, а может, опять о ментальности, иди-разбери... Вечные, хорошо подготовленные мероприятия не просыхают. Зал, где поем, украшается, лозунги вывешиваются, жизнь кипит... Приходит в голову мысль, что жизнь по инструкции, если Инструкция хороша, вовсе не кондовая.

Все наши певицы в основном при профессиях, должностях, семьях, детях... Хор — святое хобби. Надо петь два выходных — будем петь два. Одна родила и через неделю стала приходить на репетицию с корзинкой, в которой спал под хоровой грохот ребенок. Кстати, о своей только что зародившейся беременности она сообщила нам на репетиции, может, даже

раньше, чем мужу, сказав, что мы можем не волноваться: на Международный конкурс в Лас-Вегасе она поедет, успеет родить и взять малышку с собой — так и было...

Ой-ой, Лас-Вегас, чуть не забыла. Я знала, что народу в зале будет много, меня предупредили, но никто не рассказал, как это выглядит. И вот, как положено, я бодро шагаю по сцене на свое место с самой очаровательной улыбкой, на какую способна, встаю в самую красивейшую из поз, олицетворяющую гордость за страну, смотрю в зал — глаза выпучиваются... Это не много народу. Это оч-ч-чень много народу!!! Не передать — улюлюкающая толпа, овации — мама, я хочу домой! Верхняя губа совершенно неуправляемо начинает подрагивать, и, кажется, левая нога тоже. Но выручают добрые флюиды из зала. Представьте, нескончаемое пространство, усыпанное людьми (12 тысяч), которые любят всех выступающих еще до выхода на сцену — потрясающая атмосфера... Среди них — сами участники из разных стран мира, болельщики, вроде моего Сережки, и просто жители славного Лас-Вегаса, которым

нравится не только казино. Столько чокнутых в одном городе, в одной зале, в одном порыве ... Детский сад, сумасшедший дом, счастливая секта.

На свою первую годовщину вступления в Sweet Adeline я получила поздравительное письмо из американского «центра». Оно начиналось так: «Дорогая наша сестра в гармонии...».

## ***СЕРЕЖКА, Я И ЦВЕТОЧКИ***

Я говорила Сережке, когда мы собрались жить вместе: будет по-всякому, но скучно не будет. Он теперь часто это вспоминает. Нет, конечно, цветочно самовыражаюсь у нас я, но не без поддержки и участия Сереги. А если правду сказать, то только благодаря им. Он — добытчик в семье, он — при нормальной работе программиста, где платят достойную зарплату, на которую существуют семья и мое серьезное баловство. Думаю, Сережка просто



не пробовал — если ему дать в руки цветочный материал и какую-нибудь площадку, он что-нибудь уже сварганит, ей-богу. Мы допоздна сидим с нашим сайтом, чего-то передвигаем, придумываем очередную рекламу, я рассказываю ему, что ново-цветочного прочитала в Интернете. Вначале, мне казалось, его утомляла эта вдруг обрушившаяся на него лавина бесконечных разговоров из жизни флоры, но потом он привык и, кажется, увлекся. Нет, честно говоря, он уже по макушку в цветочках.

У меня же есть совершенно наглое чувство, что я умела это делать всегда, может, я была флористом в той жизни? Или должна была им стать, но профессии такой в советские времена не существовало... Теперь я пытаюсь объяснить себе свой странный запоздалый задор и нахожу разные приметы в прошлом, а может, притягиваю их за уши, кто разберется. Вот помню, когда мне было лет десять, я очень любила разные веточки, мох, сухие листья — все это тащила в дом и устанавливала у себя на подоконнике. Незаметно прятала за какой-нибудь корягой баночку из-под майонеза, налива-

ла воду и ставила в нее живущую в каждой квартире, модную тогда традесканцию... А еще помню, как-то принесла из леса старую березовую кору, связала ее ветками и воткнула осенние листья, проглаженные утюгом... Стала постарше, но все равно притаскивала какие-то палки-елки... Из бурятских степей привезла необыкновенную, ну просто шикарную, колючку, она у меня жила много лет, пока не затерялась в путешествиях по свету. Потом не удержалась, прихватила ветку с коробочками узбекского хлопка. Она стояла у меня в керамической темной вазе и не в южных широтах смотрелась очень экзотически... Но это так, для красивого словца.

Как-то я потеряла работу в Израиле. В наших головах уже созревали канадские планы. Мой друг Диныч-Диночка, приговаривала: «Надо что-то делать руками — это везде пригодится. Человек с ремеслом не пропадет, это тебе не русская журналистика». Черт побери, права. Но что?! Варить? — дома хватает. Шить? — терпеть не могу. Вязать? — лучше удавиться. Однажды, читая о цветочной школе в Москве и

о том, как сегодня быстро развивается там флористика, я вдруг вспомнила о своих давних порывах, потом нырнула в Интернет и увидела, какую красоту можно сделать из цветов, я даже не представляла... Процесс пошел очень быстро: моя Дина нашла знакомую флористку, та рассказала, что такие курсы есть в Тель-Авиве, и выяснилось, что они открываются — это был для меня Знак — через пару дней: меня могут взять, если я буду быстро соображать. Я помчалась. Свои впечатления после первого занятия помню до сих пор. Движения были медленными, неуверенными — как же можно отодрать розе голову, оставив маленький обрывок стебля? — руки дрожали... но зато через несколько часов композиция начала оживать и вдруг превратилась в законченное «произведение». Оно было чересчур правильно-учебным и потому, наверно, бездушным, но зато восторг был неподдельным!

Джина — наш педагог — занималась цветочками всю жизнь. Она была родом из Англии и напоминала классную даму — строгую, аккуратную и не терпящую никаких отступлений

от правил.

— Вы опускаете «свадебный оазис» (это флористская губка) в воду и считаете до девяти.

— Ой, а почему до девяти?

Тяжелый ледяной взгляд из-под очков пронизывает насквозь:

— А потому что я сорок лет это делаю...

Курс флористики на иврите я успешно прикончила, а перед отъездом в Канаду по Интернету записалась на торонтский. И прибыла на него совсем свеженькой эмигранткой, прожив в Канаде несколько недель. Теперь я думаю, какой же степенью цветочного сумасшествия нужно было обладать, чтобы рвануть с моим уровнем английского одной из Оттавы в Торонто. Там меня с интересом рассматривали — я была молчалива и скромна, впитывала все, как та самая флористская губка, боялась пропустить хоть одно движение инструктора, потому как если не увижу что-то, так не услышу уж точно... — неделю разгадывала, что такое «Уэни эй» — оказывается, так мое неанглоязычное ухо улавливало 28... Конспекты писала на смеси русского, иврита (термины) и английского.

Боб совсем не походил на Джину. Та аккуратно отрезала все ножницами, маленькие отросточки складывала в баночку с водой, потом использовала — никогда ничего не выбрасывайте, все пригодится. Боб хватал цветок большими мясистыми мужскими пальцами, буквально драл его на части или руками, или ножом, втыкал в губку с размаху, лишнее бросал на пол. И эти грубоватые движения удивительно не соответствовали тому, что у него получалось в результате — композиции были тонкими, изящными, я бы сказала, изысканными...

После героического окончания второго курса я начала устраиваться на работу в Оттаве. Меня взяла к себе перед Рождеством одна китайка. Была она неученой, цветы не любила и могла с таким же успехом торговать бамбуком, например. У нее был такой симпатичный акцент и частая «присказка» — «О-у, ай сиии», что в переводе означает: «Да-да, я понимаю». Однажды она попросила быстро сделать букет из роз и ушла к покупателю... Вернувшись в подсобку, недовольно и нервно распотрошила все, что я сложила... Я осторожно спросила,

чем же плох мой букет? Она сказала фразу, которая тотчас вошла в золотую словесную сокровищницу нашей семьи: «Канадскому народу это не нравится».

Вскоре мы с Серегой всерьез задумались об открытии своей флористской студии и, преодолев сомнения, опасения, трудности и предостережения, сделали это. У нас появилось название — Flower Rainbow, рабочий стол, черный и элегантный красавец-холодильник, куча корзинок, ленточек, веточек и прочих греющих душу признаков мастерской. Вдруг начал звонить телефон, и нужно было, преодолевая детский страх и взрослую панику, любезно предлагать свою помощь по-английски — чем я могу вам помочь? Может, лучше бы он не звонил пока, — шептал трусливый внутренний голос...

Через несколько дней после открытия одна фирма заказала большую композицию своей болеющей сотруднице. Сереежка привез цветы ей домой, спуститься она не могла — плохо себя чувствовала. Вышла ее мама и молча забрала цветы. Через неделю фирма переслала

нам ее письмо — цветочки были названы «настоящим искусством», а про Серегу написали буквально следующее: «САМ создатель композиции и владелец бизнеса принес их мне домой!» Я даже спать не могла. Последний раз я испытывала такое чувство, когда мой юнкоровский материал впервые напечатали в газете...

Девушка позвонила в одиннадцатом часу вечера-ночи и спросила, не можем ли мы отвезти цветы? Я спрашиваю — сейчас?! Ну да, пожалуйста. Спрашиваю, какие цветы? Она — розы, вернее, одну! Боже, и куда отвезти одну розу?! Называет район, минут 25 на машине от нас. Скорее, пожалуйста, и напишите записку — «Люблю тебя вечно, несмотря ни на что...». Я предполагаю: Серега, а он нас этим цветочком-веником по голове не огреет? Что значит, несмотря ни на что, ночью, а? Мой муж заметил, что вторгаться в чужую личную жизнь — это не наша работа. Везем и все.

Молодой человек по имени Квок попросил голубые орхидеи... Обзвонили все базы — нет голубых орхидей. Благо дело, у меня сохранился телефон торговца с рынка. Есть! Рано ут-

ром, едва продрав глаза, прямо из постельки, я на двух автобусах романтично спешу за голубыми орхидеями, заметьте, в плохую погоду. А торговец... не пришел. На мое счастье рядом продавала цветы, сражаясь с ветром, какая-то француженка. Еш!!! У нее были крашенные в голубой цвет орхидеи. Добавила белые гвоздики, зелень, бусинки из своих бус... Квок был очень доволен и спросил, святая простота: «А орхидеи, это какие из этих цветов?».

Подъезжаем к одному из домов — он с колоннами, трехэтажный, шикарный, я говорю — сейчас привратник выйдет с канделябром. Но выходит обыкновенный мужик в шлепанцах — «Забыл жене цветы купить, спасибо».

Сережка звонит растерянный — «Маш, а что тебе сказали? Куда это я возил цветы?» Я говорю — звонили из голландского посольства, назвали адрес и все. Без сообщения. Выяснилось, что Серега побывал в доме голландского посла, и его жена приняла цветы. Разве программиста послали бы в столь экзотическое место?

Прошло несколько лет с момента открытия, как бы это помягче и поскромнее сказать, —

нашего маленького домашнего бизнеса. Я не сразу научилась говорить про себя — флорист. Теперь привыкла. Но в то же время трудно отделаться от чувства, что мы с Серегой участвуем в каком-то спектакле. Канада. Огромный зал ресторана. Шикарные столы в белоснежных юбках. Чья-то свадьба. Я — о, боже, флорист-дизайнер, ее обслуживаю — хочется ущипнуть себя и проснуться... Дважды в год мы участвуем в свадебном шоу. Это такое место, где свои работы выставляют те, кто обслуживает свадьбы, в том числе цветочники. Там мы «выступаем» по два дня подряд. Потом сложная задача — окупить и преумножить затраты, а это не так-то просто. Консультация с невестой и ее родней — это театр. Вначале надо, чтобы они... пришли. Потом их нужно не напугать своим акцентом, странным домашним бизнесом, выползающими отовсюду детьми с их половинами и слишком дружелюбной собакой... Когда атмосфера теплеет, я произношу свою коронную и глубоко искреннюю фразу: «Может, английский мой не такой уж и замечательный, но букеты я делаю гораздо лучше».

Фраза чаще всего имеет успех. Серега добавляет, что выбранная ими гамма цветов замечательна (сам он, если я отвернусь, так и норовит надеть смелые бордовые носки под бежевые брюки). Сделка заключена, я счастлива больше, чем невеста, — мне доверили интересную, творческую, красивую, важную работу и за это удовольствие еще и заплатили...

Сережка — просто уже король доставки. Берет корзину торжественно, поднимает вверх, как официант поднос, и гордо несет к дому, а если это ваза — за талию, бережно, как женщину, — у него классно получается. Он даже несколько раз чаевые схлопотал по этой части, кстати, был очень доволен, радовался, по-моему, одному доллару гораздо больше, чем своей зарплате. Тоже еще тот романтик. А наш оттавский приятель Боря заметил: «Конечно, они подумали: такой интеллигентный человек на такой малооплачиваемой работе — и пожалели».

Что сказать, причудливо раскладывается колода жизни...

## Содержание

От автора	5
О любви и шляпах	7
Неопасные игры	19
Первое интервью	23
Нешуточное дело	26
Наталья	34
Банионис	38
Мы с Козлятиной	43
Эль Пуэбло Унидо	47
Соловейчик	54
Родная душа	63
Царь	71
Высшее образование	73
Старородящая	86
Обещание погрома	99
Каха Ба Арец	105
Развод	124
Я была в гетто, я там точно была	128
Психологические этюды	135
Мои длинноухие	144
Наши люди	154
Прививка от столбняка	161
Дом, в котором — я и ты	164
Национальный ответ	175
Сестра в гармонии	183
Сережка, я и цветочки	196

Литературная премия имени О. Бешенковской учреждена в знак уважения к ее памяти и для стимулирования литературной деятельности в русле заложенных ею традиций.

Учредитель премии — Международная гильдия писателей.

Сайт МГП: <http://schriftstellergilde.org>



© Мария Лакман: Дом, в котором — я и ты...  
Сборник эссе.

© Verlag «stella.ru»  
Max-Liebermann-Weg 14  
71065 Sindelfingen  
Deutschland  
<http://stella.ucoz.de>  
[lnbg@ya.ru](mailto:lnbg@ya.ru)  
Tel. +49 (0) 7031 4282498

ISBN 978-3-941953-47-5

